

**РЕШЕТНИКОВ Ф.М.**



**МЕЖДУ ЛЮДЬМИ**

Между людьми

ОТ АВТОРА В ВИДЕ ПРЕДИСЛОВИЯ

Мне нравится ходить в кабаки, каких в Петербурге очень много, и нравится ходить преимущественно в многолюдные, находящиеся на многолюдных улицах, где живет рабочий народ; также нравится ходить и в дешевенькие трактиры, гостиницы, когда по вечерам, в будни, под праздник и в праздники, стекается отвести душу простой народ. Подите вы в воскресенье Апраксиным переулком между Садовой и Фонтанкой - и вы увидите много рабочего народа, который то стоит кучками, то сидит в разных местах, то заходит в питейные и трактирные заведения. Из этих заведений слышатся крики, песни и пляски, и вам придет в голову: экой этот народ пьяница! Но не так заключаю я.

Не помню, которого числа февраля или марта месяца 186\* г. я зашел в один дешевенький трактир. Выпив рюмку водки, я сел к столу и закурил папироску. Народу было не так чтобы много, но для этого трактира достаточно. Песни и пляски рабочих и мелких торгашей слышались даже на улице, поэтому легко себе представить читателю, что значат песни и пляски в самом трактире, - а это знает, я думаю, каждый житель Петербурга. Но кроме этого, в трактире много было спорщиков, которые, сидя за столами, выпивали очищенную, крымскую или наливку, закусывая огурцами, редькой или просто куском хлеба. Было много и таких, которые сидели поодиночке: недалеко от меня сидел человек в чуйке, покачивался и что-то бормотал; возле него сидел человек в армяке и несвязно выговаривал: "В орган заиграй!.. заиграй... пяти цалковых не пожалею!.. все отдам..." Сцен много; различные эти сцены часто доходят до драк, и жалко становится за человека, да ничего тут не поделаешь, и всякое насилие для того, чтобы остановить пьянство, будет напрасно. Почему это так, мы увидим дальше.

За одним столом со мной сидел человек лет двадцати шести. Таких людей мы видим постоянно и не обращаем на них никакого внимания. Первое, что бросается в глаза, - это растрепанные волосы, бледное лицо, разбитая бровь. Надето на нем суконное пальто, грязное, продрванное в разных местах, изобличающее его в том, что он или драться любит, или его бьют. Пальтом он не закрывается; поэтому полы пальто лежат на полу, и видится грязная холщовая рубаха и серые тиковые коротенькие брюки; на ногах что-то вроде калош. Но он еще не пьян. Положивши руки на стол, левую на правую, и сжавши не мытые с неделю кулаки, он зорко наблюдает за людьми своими серыми глазами и, кажется, хочет вмешаться в разговоры, да сдерживается. Я заметил, как он посмотрел на меня, когда я вошел в трактир, как выпил рюмку водки и строго взглянул, когда я сел... Ему, как видно, хотелось заговорить со мной, но я уклонялся от этого, а он не начинал. Вдруг он сказал мне:

- Одолжите мне, если есть, папироску! Я дал. По произношению я затруднился заключить: рабочий ли он, или из чиновного разряда.

- Не поверите ли, как хорошо здесь.

- Почему?

- Народ хороший. Славный народ... Выпьемте.

Мы выпили по рюмке.

А в соседней комнате какой-то господин настроивал на гитаре "Во саду ли в огороде девица гуляла" и другие песни, и под эту игру публика плясала и пела. Вдруг к моему соседу подошел здоровенный мужчина в красной рубахе и в синих выбойчатых штанах. Он был полупьян. Ударив по плечу соседа, он сказал:

- Петька! спой "возле речки".

- Неохота.

- А, чтоб те!.. выпить, што ли, хошь?

- Нет... - В голосе его слышалось отчаяние. Мужчина принес к нему косушку перцовки. Выпили, и мой сосед ушел в соседнюю комнату, где плясали. Слышу, кто-то поет басом "возле речки", - правильно, хорошо, с чувством, то повышая, то понижая голос, как будто бы он был в певчих. Пели сначала и рабочие, но потом перестали, а пел только мой сосед, под аккомпанемент гитары.

Молодец, Петька!.. - закричали рабочие по окончании песни и просили его спеть другую. Я ушел.

Еще раза два приходилось мне видеть его в течение двух недель в трактире, и даже раз я видел его с гитарой, на которой он играл порядочно. Потом я его не видал долго. Однажды прихожу я в Обуховскую больницу, где лежал один мой товарищ. Рядом с его кроватью лежал человек, покрытый простыней, и около этой кровати суетились служителя и фельдшер.

- Вот и со мной то же будет! - сказал мне товарищ.- Еще час тому назад говорил, а теперь лежит мертвый.

- Кто такой?

- Канцелярский служитель Кузьмин... Его привезли сюда из квартала едва живого: пьянствовал все.

Открыли простыню - и что же? Я увидел того самого Петьку, который месяца два тому назад сидел за одним столом со мной, пил со мной водку и потом пел... Жалко мне стало его. Я рассказал об нем товарищу.

- Он мне подарил тетрадку. В ней написано, как он жил здесь, в Петербурге. Мне ее не надо, возьми. Вот что рассказывал про себя Кузьмин.

Часть первая

## ДЕТСТВО

Зовут меня Петром Ивановичем Кузьминым. Воспитывали меня родной брат моего отца и его жена, которых я называл, как они меня учили, сначала тятенькой и мамонькой, а как вырос больше - папенькой и маменькой. Теперь же, в письмах к ним, я их называю уже папашей и мамашей.

Мать моя, как говорят мои воспитатели, умерла через сорок недель после моих крестин, бывших на третий день по моему рождению. Поэтому я не помню ее; портрета же ее я никогда не видел. О моих отношениях к матери вот что рассказывала тетка, когда ей хотелось похвастаться своей добротой.

- Мать твоя, как теперь помню, лежала в больнице, в голубеньком ситцевом платишке, и как только я принесу тебя к ней, ты и замашешь ручонками, и заревешь. Возьмет тебя мать на руки, ты глядишь так как-то весело глазенками, и слюни у тебя бегут по губам. Ничего ты не понимал, безрогая скотина, а тоже что-то было у тебя такое, что ты не ревел, когда тебя брала мать на руки. А возьмет тебя другой, ты заревешь, даже если и я возьму тебя от матери, ты долго реवेशь и грудь сосать не хочешь...

Могу вам положительно сказать, что я, кажется, начал понимать с третьего или четвертого года, потому что я кой-что помню за это время, а раньше я был положительно глуп и такая же бестолочь, как кукла, только живая кукла.

Когда уж я сделался рослым мальчишкой и навидался разных ребят годовалых, я удивлялся: неужели и я был такой же соплявый, ревун и бестолочь? Я сравнивал этих годовалых людей с годовалыми кошками и собаками, и мне почему-то досадно было, что кошки и собаки в это время лучше понимают, чем годовалый человек; по крайней мере, с ними возни нет. И неужели, думал я, так же мучились и со мной, как мучатся и с этими ребятами, так же колотили за рев, как и их? Тетка это подтверждала.

И то, что я видел и что я делал на четвертом году, я помню очень плохо. Я помню только то, что особенно произвело на меня впечатление; например, я помню, как один раз, ночью, меня разбудили стукотней и криком мои воспитатели. Они бегали и кричали: пожар! пожар! И действительно, горел соседний дом. Я в испуге дрожал и ревел. Думал ли я что-нибудь в это время - не знаю, а помню хорошо, что я кричал на весь дом и держался руками за платье тетки так крепко, что когда она меня стала бить и отрывать от себя, я порвал у нее платье и снова вцепился за него зубами так плотно, что укусил даже самую тетку в какое-то место... Помню, как я в первый раз смотрел, как идет лед на реке, как появился первый пароход,- и удивлялся всему этому.

Помню, что я был большой баловник и ел очень много. Только пробужусь - и кричу: ись! ись! Поставят самовар - я уже и лезу в шкаф, достаю чашку и иду к тетке: мама, ись! Это очень забавляло дядю и тетку, но они старались всячески отучить меня от обжорства, так как я просил есть раз по десяти в день. Жилось мне как-то нескучно: я или играл с детьми наших постояльцев, или с кошкой, или с собакой; или терся при тетке, стараясь перенять ее стряпню; или заглядывал, забившись на стул, как дядя пишет что-то на бумаге... Вижу я, что сначала на бумаге много места пустого, а как дядя поведет пальцами с пером и сделается ровная черточка, и много-много будет эдаких черточек! Сначала я только удивлялся этому, а потом мне почему-то смешно становилось, как дядя пишет-пишет - и изругается, а потом скоблить начнет.

- Чему ты гогочешь, пес! - закричит дядя. Я того пуще засмеюсь. Дядя прогонит меня, а я опять зайду к нему тихонько сзади. Сначала креплюсь, а потом и прысну со смеха... Мне хорошо казалось, как дядя ворчит; мне играть хотелось с ним, и я толкал его в правое плечо, за что мне больно приходилось. Любил я после этого представлять дядю, или вернее - мне хотелось ухитриться сделать так же, как делает он. Возьму я кусочек бумаги, подойду к столу и начну чертить на бумаге пером с чернилами; но у меня выходило все криво, все дуги, да колеса, да круги, и меня это очень забавляло. Кончу я свою работу и кажу тетке или кому-нибудь в восторге; те меня хвалят. Но я часто надоедал своей работой тетке, и она ругала меня за то, что я бумагу порчу, руки и рубашку мараю в чернилах. От меня стали прятать чернила и карандаши, я стал слюнями писать или черкал, где попало, углем.

Весьма хорошо казалось мне, как меня тетка возила зимой в пошевенках, или санках, когда она ходила на рынок или в гости. Я не любил ходить пешком; если оставляли меня дома, я кричал и боялся, думая, что меня утащит черный мужик-трубочист, посадит меня в мешок и бросит в прорубь. А этому меня напугала тетка и ее родные. Тетке хотелось показать людям своего сына, а я не хотел идти; нести меня тяжело ей было; вот она и возила меня в санках; да ей и жалко было меня: "Куда ему еще ходить! мал очинно!" Также мне хорошо казалось, когда у нас собирались гости или когда я бывал в гостях. Чего-то чего тут не было! Поют песни; говорят как-то весело, кричат, ругаются. Я тогда, одетый в новую рубашку и новые штаны, которые тетка называла штаниками, сидел смирно на стуле, глядел на всех или на того, кто мне больше нравился, - и удивлялся. Если бывали дети, я играл с ними в углу скорлупами от орехов. Но больше всего мне нравилось, когда меня дарили пряниками и сладостями. Тетка давно старалась приучить меня к тому, чтобы я благодарил за подарки, но я туг был на это.

- Что же ты, балбес, не говоришь: покорно благодарю, мол?

Я молчу. Мне совестно; я щиплю рубашку, смотрю в угол.

- Ну, говори!

Молчу. Чувствую, что плакать хочется, а думаю: не скажу!

- Экой упрямой! Ну, вперед не получишь. Знаешь ты: ласковое телятко две матки сосет, а упрямое одной не видит, - и пойдут, и пойдут говорить наставления; а я куксюсь и злюсь: а не скажу! А все-таки хочется больше набрать сладостей. Бывали случаи, что я, когда проворчатся и уже не подают сладостей, вдруг скажу: "Покорно благодарю" - чуть-чуть слышно. И совестно мне, и чувствую, что щеки горят, и легче кажется; а сам все-таки думаю: "Ну, и черт с вами! вслух все-таки не скажу. Право, не скажу!.."

Тетка любила рассказывать каждому новому знакомому, а старым знакомым в сотый раз, про моих настоящих родителей. Надо заметить, что незнакомые тетки почитали меня за ее сына, а знакомые ее не верили ей, когда она говорила, что я воспитанник, и начинала рассказывать целую историю: кто была моя мать, отец, как она умерла и проч. Мне досадно было, например, вот это: пойду я куда-нибудь с теткой по городу (у тетки много знакомых: знакомые были все люди бедные, и штук тридцать из нищей братии), попадетсЯ какая-нибудь женщина и смотрит на меня.

- Это твой сынок-то?

- Како мой; на воспитание взяла.

- Ой ты, матка! не врешь ли?

- Сичас умереть.

- Да чей же он такой?

- Братнин. Женили брата, пьяницу; а мать умерла.

- Эко диво! Отчего же она умерла-то?

- Да с пожара. Испугалась, знаешь, и захворала. Вот мне на шею и бросил.

- Ну, матка, вырастет, возблагодарит.

- Ну уж, дожидайся! Он и теперя такой, что беда.

- А ты, дитяtko, слушайся маменьки. Слушаться надо. А у тебя, матка, нету-ка своих-то детей?

- Нету; да куда с ними.

- Все же родной-то лучше.

Я замечал, что тетка делала глаза как-то строго при этих словах, и думал, что ей это не по нутру. История же моих родителей была такого рода: оба они были духовного звания, да и другие родственники наши тоже были этого звания, но им не посчастливилось, и они вышли в светские очень рано. Так, дед наш был дьячок, а дядя на четырнадцатом году был уже почтальоном; отец мой был дьячком. Он воспитывался у дяди, так как отец его был очень бедный человек и семейный. Он рано начал пить водку и рано спился совсем. Дядя и молодая его жена, желая избавиться от него и желая сделать его годным человеком, то есть чтобы он не пил водку, задумали женить его. Вот что говорила про эту женитьбу тетка:

"Ну, и стала я сбивать его жениться.

- Послушай, говорю, брат, женись!

- На кой мне леший жениться? - говорит он.

- Водку не станешь пить.

- Не знаю... А што?

- Право, женись.

- А жить-то как?

- В почтальоны ступай.

- Ну, и то ладно, - А сам после этого пойдет, слышь ты, и налижется, как стелька...

Была у меня на примете девушка, сирота дьяконская. Смирная такая, красивая, рукодельница. Жила она тоже у чиновника, рядом с нашим домом. Ну, и посоветовала я ей выйти замуж за брата. Долго она не шла: боюсь, говорит, пьяница жених-то, да и ни у него, ни у меня ничего нет. "Ничего, говорю, мы поможем". Ну и согласилась. Брат ходил к ней две недели и водку не пил в это время. Золото стал человек. Только вели-то они себя, как чужие. Придет он к ней, поклонится и скажет: здравствуйте...

- Здравствуйте, - ответит она и покраснеет. Она сядет на стул к столу и начнет вышивать, а он пойдет в кухню, трубку курить. Накурится, посидит на диване и пойдет домой. Придет домой он, я и спрашиваю его:

- Ну, что, нравится?

- Ничего... ладно.

- А разговаривал с ней?

- Чего говорить-то?

Ну, и велю я ему кедровых орешков снести невесте на другой раз... Так и женили мы его. Как женили, он и запил. Она, бедная, все плакала... все плакала... хорошо, что он не бил ее и не бранил, и из ее вещей ничего не пропивал. Да и у нее, голубушки, ничего лишнего не было. Луж такая-то была смирная, дай бог ей царство небесное!.. И стала, слышь ты, я замечать, что она в тягости!.. И больно же она, голубушка, плакала.

- Отчего, - говорю, - ты все плачешь?

- Не знаю, - говорит.

- Ну, полно; он, может, и перестанет пить.

- Да он дома-то редко живет, да и со мной-то редко сидит: придет, завалится спать на полати; а встанет-наестся и опять уйдет.

Уж я говорила ему, чтобы он ладненько жил с ней; он только молчал. Поступил он в почтальоны - и хуже запил. Жили мы тогда в уездном городе. Его перевели в губернский, и нас тоже перевели. Надо нам было ехать, она и родила вот этого балбеса. Только мы приезжаем в губернский все вместе, а там весь город горел в это время; она испугалась и захворала. Думаю: куда мне с ней возиться, - и свезла я ее в больницу. Она и говорит мне: возьми ты, сестричка, моего ребенка к себе... Уж не оставь, ради бога, будь матерью... Слушаться не будет - на колени ставь. А как она, голубушка, любила-то его (т. е. меня)! Да не дал бог веку, умерла. Ну, думаю, куда девать парня, - и взяла к себе... Теперь уж покаялась, да поздно".

Всем этим рассказам я сначала не верил, а потом в голову начинала закрадываться мысль: что же это такое, в самом деле, тетка говорит? Какая еще такая у меня была мать, и, говорят, какой-то отец есть, а я его не вижу! врут, поди! И больше этого ничего не придумал. Мне хороню жилось: я играл, пил, ел вволю, и хотя меня крепко постегивали за баловство, но все-таки тетка меня и ласкала частенько в это время.

На шестом году, когда я уже понимал больше, я не то что любил своих воспитателей, но, как говорится, был привязан к ним. Дядя меня никогда не ласкал, и я почему-то всегда боялся его. Тетка хоть и колотила меня, но и ласкала, кричала на меня - и всячески заботилась, чтобы я был сыт, цел, то есть не порезал бы руку, и чтобы рубашка моя была всегда целая и чистенькая. Я, кажется, любил тетку, и как ни больны были ее колотушки, и как я ни ревел с досады, что я сам не смею дать сдачи, я все-таки любил тереться при ней и при этом что-нибудь спакостить: например, в квашонку с тестом бросить что-нибудь, да так, чтобы она не заметила этого; вяжет она чулок, я петли распушу, когда она уйдет, а потом говорю, что это кошка сделала; поет она песни, и я тоже стараюсь подтягивать ей, только выходило очень плохо; начнет она шить, я лезу к ней, тереблю ее за сережки, вдернутые в кончики ушей, хватаю ее за шею руками... И все это, как помню я, делалось бессознательно, вероятно потому, что мне хотелось играть. Тетки я не так боялся, как дяди, к которому я не имел такой привязанности, как к тетке, вероятно потому, что он дома бывал редко, со мной ничего не говорил и гнал меня прочь, если я лез к нему. Я любил все, что только впервые попадалось мне на глаза. Купит что-нибудь тетка, я смотрю, удивляюсь, расспрашиваю, стараюсь в руки взять, на себя напялить, углем начернить или съесть, - смотря по тому, какая вещь. И мне крепко доставалось за мое любопытство. Особенно мне доставалось за книгу "Священная история Ветхого и Нового завета", с картинками. У дяди только я и видел эту книгу, - на столе, в переднем углу. Смотреть ее мне строго запрещалось. Дядя из нее ничего не читал, и только тетка старательно каждый день стирала с нее пыль, по привычке стирать пыль с таких вещей, которые ей казались дорогими. Когда дяде и тетке нечего было делать, тетка брала эту книгу, ложилась на кровать к дяде и просила его почитать:

- Ну-ко, читай, что тут?..

- Уйди, стану я читать!

- Почитай, ты ведь у меня золото. Ах, если бы я умела грамоте!

- Не хочу. Мало ли что тут писано.

- А это что за картинка?

Я встрепенусь и подбегаю к кровати.

- Ты зачем! - закричит на меня тетка.

Я молчу: знаю, что меня не звали, а уйти не хочется. Дядя начнет рассказывать тетке содержание картинки или читать; тетка повернется к нему лицом, а я забьюсь на стул к подушкам и стараюсь заглянуть на картинку, Досадно мне, что картинки кет, и я протягиваю к книжке руку. Дядя заметит это и щелкнет меня книжкой по лбу:

- Тебе говорят, балбес ты эдакой, или нет? Пошел!

Я стою.

- Ах ты подлая рожа. Где ремень?

Я убегу.

Зато как останусь я один дома, то вволю насмотрюсь на картинки, на листки и на переплет. И достанется же тогда книге: мне очень нравилось прокалывать иголкой или булавкой глаза изображенным на картинке людям и прокалывать также буквы, или чертить карандашом на листках разные каракули. Дядя, когда читал книгу, догадывался, что это мои проделки, и тетка расправлялась со мной, заставляя целый день простоять на коленях в углу. Мне обидно казалось стоять, и я решил, что лучше будет если я картинку вырву из книги, а самую книгу брошу в печь. Долго я хохотал над своей выдумкой и ждал к тому случая. Так и сделал. Раз вечером, когда дядя и тетка ушли в гости, а меня оставили домовничать, я запер двери на крючок, подбежал к столу, схватил книгу и начал операцию. Помню, что мне страшно почему-то казалось вырывать из книги картинки, и я думал: а что, если они воротятся? а если они теперь в окно смотрят? Я погасил свечку, подошел к окну и прилежнее прежнего продолжал свою операцию, выдирая как попало, лишь бы скорее кончить работу... Книгу потом я спрятал под шкаф, где лежали только старые тетнины ботинки. Дядя и тетка домой пришли поздно, когда я уже спал. Книги они не хватились; а тетка еще, как раздевалась, дала мне конфетку, пряник и грецкий орех. Целую ночь я не спал. Как только тетка склала утром в печку дрова, я живо бросил книгу в печь, но бросил так, что она свалилась набок, к самой стенке. Тетка стала затоплять печь. Она любила, чтобы у нее дрова в печке хорошо были складены; поэтому она, заметив книгу, сначала подумала, что это кирпич.

- Что за дьявол, откуда это кирпич? Сверху, что ли, выпал... - и стала вытаскивать клюкой этот кирпич. Каково же было ее удивление, когда она увидела свою любимую книгу без картин и с ободранными листками!

Дядя долго меня драл ремнем за эту проделку.

Он очень любил картинки, но никогда не покупал их. Раз ему подарил кто-то картинку лубочный фабрики, изображающую войну. Дядя стал любоваться на картинку с теткой, а я сидел в углу. Больно меня брало любопытство посмотреть картинку, точно меня бес толкал в бока.

- Ишь, дьявол! Смотри-ко, это, поди, в эполетах-то, - генерал? - говорила тетка.

- Как же.

- А это?

- Ты смотри: у этого орденов сколько, - и это генерал.



- Экое счастье... Гляди же, сколько он людей-то давит! Смотри, копыто-то на трех головах стоит... А саблей-то вон пятерых зацепил...

Между тем я уже подкрался к ним; приподнялся на пальцы ног - не видать; зашел сбоку.

- Ты что? - крикнул дядя.

Я отошел немного и скорчил глаза. Тетка пожалела меня и подозвала к столу. Я ничего не понимал в картинке, и когда дядя взял ее в руки, я хотел еще посмотреть и рванул ее так, что одна половина ее осталась в моей руке. За это дядя так ударил меня по голове, что я ударился об пол; изо рта пошла кровь.

С этих пор я крепко не залюбил дядю.

Меня учили молитвам, учили молиться утром, вечером, перед обедом и ужином и после них; учили уважать и почитать старших, любить тетку и дядю, называть их родителями - и всему этому учила меня тетка. Но молитвы я знал плохо, а знал больше песен и сказок; тетку и дядю я уважал, боялся, и так как я был мал, то без их спросу ничего не мог сделать, и это бессилие свое я испытывал на себе каждый день. Старших я не мог любить всех, а любил только тех, которые были ласковы ко мне; с кем хороши были мои воспитатели, кого они любили, того и я называл хорошим человеком и к тому лез без церемонии. Одно только я не мог тогда понять: зачем мне молиться еще за родную мать и за родного отца? ведь я не видал их? Зачем молиться за отца, когда тетка называет его пьяницей и часто пугает меня тем, что отошлет меня к нему?.. Тетка мне на мои вопросы или отвечала бранью, что я бестолочь, скот и проч., или говорила, что молиться нужно. Молился я вслух, по принуждению, так: умою лицо, становлюсь среди комнаты и начинаю молитву; вдруг тетка крикнет: подожди, балбес! рано: чай не поспел... Я отойду, сяду в угол и жду: скоро ли будет готов чай. Наконец чай готов; дядя и тетка садятся за стол; я становлюсь посередине комнаты и говорю вслух молитвы. Все молчат. Если я ошибусь, тетка поправит меня.

Больших усилий стоило ей растолковать мне, что у меня была родная мать, что не она, тетка, родила меня, а только воспитывает и кормила меня поначалу грудью, как свое детище. Но мне тогда все равно было: родная она мне мать или нет. Я только знал и понимал, что она меня кормит и что за обиду, нанесенную мне уличными мальчуганами, которые нередко тревожили мой нос до крови, всегда заступалась; значит, я был не чужой ей. Я плохо понимал тогда, что значит мать, отец и сын, и только гордился иногда тем, что живу у таких людей, которых любят другие люди, и часто важничал. Например, бывало, придет какой-нибудь нищий к нам, я и говорю ему: "Дома нету!" А сам думаю: "Вот и ничего не дали. Маменька велела подавать грошики, а я не подам тебе, себе возьму". Придет к дяде проситель какой-нибудь, да дядя спит, я и говорю ему: "Спят еще!" Знаю я, что нужно сказать ему: подождите или сядьте, а я думаю: "Постоишь, не велик барин..." Если мне давали подачки, я думал, что мне так и следует давать подачки, потому что я сын ихний, а это мне чужой. То, что я был не чужой дома, я знал хорошо, и если слышал, что дядю кто-нибудь ругает, пересказывал тетке да дяде, и дядя говорил, что он отомстит тому человеку чем-нибудь...

С каждым днем мне тяжелее становилось бывать дома. Я дома уж не баловал, но озорничал и нарочно делал то, что не нравилось тетке, которой я не мог ничем угодить. За всякую неловкость она бранила меня, кричала; я сначала злился, а потом плакал, сознавая, что меня напрасно ругают. Родственники мои, дети одних со мною лет, знали, что я терплю много, и постоянно говорили мне: "Зачем ты боишься их? Ведь они не родные тебе". Я сначала отмалчивался и не жаловался на них, а потом, слушая каждый день их советы, стал размышлять в тяжелые минуты: а зачем я боюсь их? Ну, и не стану бояться... Тетка скажет мне: становись на колени! Я не встану.

- Тебе говорят! - крикнет она... - Это что значит?- произнесет она с изумлением.

Я не слушаюсь.

- Вы не родная мне... - скажу я.

Тетка озлится, схватит ремень и начнет неистовствовать по моей спине. Но я не просил прощения и не выдавал своих друзей... Эти сцены стали повторяться часто; меня наказывали больно, а я день ото дня становился злее и упрямее. Поставят меня на колени - я целый день простою и не попрошу прощения; не накормят меня - я сам украду хлеба... И как же я в это время ненавидел своих воспитателей!..

Больно мне было слышать то, что меня попрекали моим родным отцом, говоря, что мой отец никуда не годный человек, что дядя держал его прежде у себя из милости, делал ему много добра, за которое он отплачивал ему различными неприятностями. Тетка молила бога, чтобы я захворал и умер; а дядя корил тетку, что она женила его брата и что она одна виновата в том, что я родился и живу теперь у них, а пользы от меня никакой не выходит, кроме того, что я выхожу очень дрянной мальчишка: не слушаюсь их, грубиян и начинаю поворовывать.

Оба они требовали, чтобы я делал то же, что делают и они: говорил с толком, не играл с ребятами, сидел смирно на стуле и исполнял все ихние приказания без ошибки. Но мог ли я это сделать? Меня манили игры товарищей; мне завидно было, что другие дети живут как-то вольнее. Если же я видел, что их обижали не хуже меня, били еще хуже, - я как-то радовался...

Все-таки я любил тетку более дяди. Дядя бывал дома редко. Утром вставал он рано; рано мы пили чай; за чаем шли рассуждения, что состряпать или испечь сегодня; он рассказывал о деяниях своих сослуживцев, она ему поддакивала или говорила про какую-нибудь соседку. Я сидел в углу, как посторонний человек, считая глотки дядины и теткыны и дожидаясь, когда мне подадут чашку чая. Выпив чашку, я подходил к дяде и тетке поцеловать у каждого руку. Дядя ничего не отвечал на мою благодарность, а тетка все что-нибудь да замечала: "ты не стоишь того, чтобы тебя поить чаем! это тебе последний раз" - и т. п. Когда дядя уходил из дома, я должен был или сидеть смирно у окна, или чистить вареный картофель, подносить тетке воду, выносить помои и за неумелость получал подзатыльники; но зато она кормила меня сдобным печеньем и разными сладостями - произведениями своих рук - раньше, чем сама пробовала; мыла меня в это время в бане, чесала и помадила голову и брала с собой в гости... Вот за это-то я и любил ее больше всего на свете. Отчего это? Оттого, вероятно, что она сердилась на меня и колотила меня бессознательно, не умея иначе научить меня хорошему, приучить к своему характеру, сделать из меня подобие себе и мужу; и ей все-таки жалко было меня тогда, когда она не суежилась, а сидела молча за работой. Недаром же она так лелеяла меня, так ухаживала за мной четыре года, как за родным детищем...

- И, matka! Ведь мне жалко его. Хоть и побьешь, и побранишь его, да опять-таки и пожалеешь... А весь, как станешь добром-то обращаться, споманет и меня, - говорила она какой-нибудь своей подруге по вечерам, находясь в веселом настроении.

- Бить-то его не надо.

- Не могу, нрав уж такой у меня... И сама я не знаю, как будто я люблю его. А за что, спрашивается, мне любить-то его?..

- Ну, вот: ведь маленькова взяла...

- Упрям только больно: весь в мать.

- Ну, вырастет, за все отблагодарит.

- Вот уж! - по шее бить будет...

- Эй ты, жених, поди-ка сюда!.. Будешь ты любить маменьку? - спрашивала меня подруга тетки.

- Буду.

- Ну, не ври: уж коли ты теперь непочтителен, что после-то будет?

Мне досадно было слышать такие слова; в эти минуты я готов был бог знает что сделать для тетки, чтоб она меня похвалила.

Когда дядя меня бил, - а он бил редко, да метко, - тетка всегда заступалась за меня. Нужно мне что-нибудь, она поворчит-поворчит - и выпросит у дяди.

Была у меня бабушка по тетке. Ей было в это время уже годов семьдесят; но она была здоровая женщина. Утром она пекла калачи, днем она эти калачи продавала на рынке, а вечером вязала или шила. На рынок я ходил каждый день, то за картофелем, то за капустой и т. п., - и всегда подходил к бабушке. Она давала мне калачик и медную гривну на пряники. Вечером около нее собирались ребята и вдевали в иголку нитку, когда она что-нибудь кропала. Она очень любила нас, маленьких ребят, говорила так ласково. Мы любили слушать ее песни, которые она пела на тон убогого Лазаря, которого поют нищие на кладбищах в радоницу; и как она рассказывала сказки!.. Всем было весело с нею, потому что она говорила как-то смешно и постоянно смешила нас своими рассказами. Она любила тетку больше всех детей, а меня больше всех своих внуков.

- Бедная ты сирота. И пожалеть-то тебя некому, - говорила она мне. - Ишь как избили тебя. А ты, голубчик терпи: стерпится - слюбится, говорит пословица. Вырастешь, спасибо скажешь.

- Зачем она, бабушка, бьет меня?

- Уж я говорила ей: что, мол, ты парня-то бьешь? креста, что ли, у тебя на вороту нету-ка?

- Ну?

- Не буду, говорит, бить.

- А вот она бьет. Я и не буду слушаться ее.

- Не балуй!

- Правда, не буду.

- Грех. Ведь она все же и заступает за тебя. А ты, коли она забранится, смолчи - она и не ударит.

Ребята просили бабушку, чтобы она пристала и за меня, и за них, и она из-за нас распекала своих детей, которые вымещали свою обиду на нас и говорили бабушке, что она вмешивается не в свое дело.

На седьмом году дядя стал брать меня с собой рыбачить. До этого времени я всегда удивлялся тому - как это дядя рыбу ловит? Придет он с рыболовства и приносит с собой туесок с живой рыбой. Тетка в восторге; дядя ругается, что сегодня плохо клевала рыба, а я засовываю руку в туесок и ловлю рыбу. Мне очень хотелось посмотреть, как он удит, но он всегда один уплывал в лодке куда-то далеко. Приставал я к нему, чтобы он меня взял рыбачить, но он не брал. Надо заметить, что дяди я очень боялся еще потому, во-первых, что сама тетка побаивалась его; а это я знал из того, что он часто покрикивал на нее за щи или за то, что она не заштопала ему дыр на брюках или халате, и она всегда говорила, когда его не было дома: ах, как бы мне уноровить ему! Во-вторых, я знал его здоровые кулаки. Когда

потом дядя стал брать меня с собой на рыболовство, я, после каждого рыболовства, всячески старался угодить ему и тетке, чтобы он взял меня снова рыбачить. Я знал, что если тетка попросит его, он возьмет меня, и знал также то, что он не всегда слушал тетку. И делал я ему различные угождения; заставит меня тетка чистить дядины сапоги, я старательно чищу целый час или до тех пор, пока тетка не выхватит у меня щетку и не ударит ею по моей голове и дочистит сапог сама. Скажет он, чтобы я шел копать червей, я не шел, а бежал, подпрыгивая на одной ноге, думая: а вот я рыбачить пойду! - и накопаю ему что ни на есть самых лучших червей из навоза. Мне очень нравилось сидеть с дядей в лодке, и я сидел вместо мебели, как называл меня дядя, потому что дядя мне не давал удилишка. Мне нравилась большая река, рыболовы, нравилось искусство дядино ловить рыбу: как он закидывает лесу в воду, поплеывая предварительно на червячка, насаженного на удочку, как поплавок пляшет на воде, как дядя подсекает удилишком, как он изгибается, когда тащит большую рыбу, говоря, чтобы я сидел смирно, как эта рыба возит лесу, как дядя вытаскивает ее в лодку и как он проклиная все и всех, когда не вытащит рыбы.

А дядя зол был ругаться. Раньше этого я не слышал, чтобы кто-нибудь умел ругаться так, как ругается мой дядя. Он ругался даже и тогда, когда говорил с кем-нибудь. Он ругал все и всех, живых и мертвых, свиньями, дармоедами, а себя называл самым умным человеком, которого все и все обижают. Мне весело было тогда, когда он ругался; я так привык к его ругани, что думал, что он только тогда и весел, когда ругается. Я обыкновенно сидел в носу или в корме лодки, а дядя посередине, и я сравнивал дядю с бубновым королем - так уж он больно походил на него в своем халате, шляпе и с трубкою в зубах. Я ловил руками рыбу в туюске, издевался над червями, причем лодка качалась, дядя злился, кричал: тебе говорят или нет!.. Я присмирею, сижу как сыч; а потом опять начинаю уже неистовствовать в лодке. Дядя терпит-терпит да как "свистнет" меня удилишком по затылку и закричит:

- Я тебе говорил или нет? Ах ты этакой... - И зубы у него словно трещат, и лицо такое делается страшное, что меня ужас возьмет; я опять присмирею, так что даже и соседние рыболовы смеются.

- Валяй ево! валяй хорошенько...

- Ишь какой, только шалит!

- Смотри, рыбу-то отгонит всю!

Дядя, как видно, осердится и скажет им: не ваше дело! - так что и те присмиреют.

Дядя, как он сам говорил, был злой рыбак. Он ничего не любил так сильно, как рыболовство, и страшно ругался, если ему в какой-нибудь день не удавалось рыболовить. Он удил постоянно от елки. Елку эту он срубил в лесу, за две версты от города, и к своей лодке пер ее на своих плечах, проклиная свое житье. Так же пер он к лодке пятипудовые камни и хвастался, что он силач. Действительно, с пятипудовыми камнями он обращался довольно нецеремонно и вертел их, как полупудовые. К верхушке елки он привязывал веревку, которою были обвязаны два или три камня, пудов в восемь или девять; к корню привязывал тоже веревку, длиной сажень в пять, и наплав. Елку свою он бросал таким образом: сначала раздевался и мерял дно реки, против одного места, близко от города, и щупал плиту, то есть гладкое, ровное дно. Мерял дно он также и багром. Смерявши дно, он тащил в лодку камни, клал их на дощечку, положенную поперек носа и края лодки, потом клал в лодку и веревку с наплавом. Выбросивши веревку с наплавом, он мерял дно снова и, удостоверившись, что здесь хорошо поставить елку, выбрасывал ее ловко из лодки, а потом брал за один конец доску и опрокидывал ее тоже ловко в воду; камни и елка исчезали, и оставался только один наплав. Наплав означал место елки. От елки дядя считал лучше удить, чем от заездков, потому что против самой елки пронос воды очень тихий и елку можно всегда перетащить, да и притом дядя думал, что с елкой меньше возни. Часто дядю злили тем, что отрывали наплав

от елки, а иногда и всю веревку; а отрывали или плоты, или суда, или городские ребята по ночам. Впоследствии я сам был большой охотник на эти штуки. Если нет наплава, дядя долго ругался, плевал в воду и искал елку кошкой, сделанной из больших гвоздей наподобие якоря, и если не находил елки, срубал новую. Если у него было свободное время, он всегда сидел у елки, будь тут гром, дождь и валы. Он злился в это время на гром и на Илью, от которого, по его понятиям, гремел гром, но дождь и валы он любил. Если его сильно мочило, он подплывал к берегу, втаскивал на берег лодку, опрокидывал и забивался под нее, выжидая, когда дождь перестанет идти. После дождя рыба хорошо клюет, говорили все наши рыболовы. Дядя никогда не ел свою рыбу, он говорил, что ему жалко есть ту рыбу, которую выудил он, а тетка каждый день стряпала для себя из нее пироги. Это уж редкость, когда дядя будет хлебать уху из пойманной им рыбы.

Дядя любил рыбачить один, и я не знаю, зачем он меня брал с собой, - вероятно, потому, чтобы я привыкал к рыболовству, привыкал ко всякой погоде, а может быть и потому, чтобы я не баловал дома. И я сидел в лодке, как кукла. Помню, что в течение двух месяцев, в которые я имел удовольствие сидеть с ним в лодке, он не сказал мне ни одного ласкового слова, не сказал ни одного наставления, называл меня шельмой, и если его обманывала рыба, он ругал рыбу, плевал со злости в воду, ругал меня, говоря: "Это все от тебя не клюет рыба! Как отец твой несчастный, так и ты такой же злосчастный..." Может быть, он хотел испытать мое счастье и поэтому брал меня с собой. А у него была такая замашка. Впоследствии мы рыбачили неводом и закидывали невод на счастье тетки, дяди и мое. Оказывалось, что рыбы попадало мало, и заключали, что всему этому я виной. Один раз какая-то рыба оборвала всю лесу у дяди, чуть не по самое удилишко. Дядя обругал меня: это все от тебя! Поплыл за лесой, но лесы не мог поймать. С этих пор он не стал брать меня с собой, и я рыбачил уже сам с берегу, да и это случались очень редко, потому что меня одного боялись отпускать к реке, чтобы я не утонул. Зато если я рыбачил, то становился по колени в воду, болтал удилишком в воде, когда не клевала рыба, и особенно любил ловить раков.

Наши родственники держали своих детей очень строго и редко отпускали нас друг к другу. У тетки дети не собирались, а собирались мы у дяди Антипина, у которого было три дочери и двое сыновей и к которому приходили его племянники, три мальчика. С уличными ребятами нам редко приходилось играть, потому что нас не пускали на улицу, и если случалось, что мы дрались с детьми мещан, нас наказывали за то, что нам не следует связываться с детьми мещан потому-де, что мы перейдем от них скверные привычки. Нам позволяли играть во дворе и в огороде. Мальчики, старше нас, с нами не играли, у них были свои игры: они стругали стрелы, делали луки, стреляли в цель и кверху, делали суденки и корабли с парусами, пускали их по пруду, находящемуся в огороде Антипина, и занимались большею частью рыболовством. Если мы приставали к ним с расспросами, они, как старшие, звертывали нас, то есть теребили за волоса. Поэтому нашей братии собиралось отдельно человек шесть, и так как у нас почему-то не было расположения играть в мячик или бабки, то большинство из нас играли в клетки и угощали друг друга разными кушаньями из глины. В куклы любили играть две девушки, и эти куклы представляли тоже живые существа, заменявшие собой бабушку или какого-нибудь родственника. Заберемся мы, бывало, летом в уголок за сараем, у огорода, для того, чтобы нас не тревожили старшие, и начнем играть.

И делаем мы чашки, пирожки, крендельки и т. п. из глины, и угощаем друг дружку таким образом. Так же угощаются и лелеются куклы наши, которые в один день бывают и матушкой попадьею, и тетушкой, и сестричкой, и посторонней гостьей, и если кукла капризится, ее щиплют, снимают с нее платье и т. д. И чего-то чего не наговорим мы тут; как не выскажем свою заботливость, свои нужды и печали, да и не только свои, а и своих родных! Например:

- Ах, Маша, у меня нет чаю (Это значит - вчера у ее матери не было чаю.)

- Купи у меня.

- Продай, много ли возьмешь?

- Рубль.

И дает Оля Маше пять плиток от изломанного горшка. Случалось, что иногда, по капризу кого-нибудь из нас, чай стоил сто рублей. А по-нашему сто и тысяча рублей уж чересчур много значили, хотя мы и не видали никогда столько денег. Целый день мы проиграем так; нам весело и не скучно. Взрослый человек, послушавши нас, сказал бы: что это они городят такое? никакого толку от них не добьешься... Взрослый человек скучает весь день, весь день недоволен, и не понимает он этого особого детского мира, который дети сами создали или приняли от других: нравится им эта бестолковая игра, она занимает их, болтают они все, что только взбредет в голову, все, что они запомнили от людей; здесь никто не стесняет их, потому что они предоставлены сами себе, - и весело им. Странно только то, что многим из родных наших не нравились подобные игры; странно, потому что они, когда были детьми, так же играли, а это я знал из того, что все дети, сколько я ни видал их в то время и после в нашем городе, так же играли. Не скучно нам было и тогда, когда шел дождь, или зимой. Летом мы забивались в чулан или куда-нибудь в такое место, откуда нас не гнали, и там также играли в клетки и в деньги. Зимой мы забивались на печь и играли больше в карты, хотя и не умели еще играть, причем валеты, дамы и прочая карточная знать шла у нас за людей. Так, например, моего дядю называли пиковым валетом, а я настаивал на том, что мой дядя бубновый король.

Любили еще мы играть в войны или отпевать. Голос тогда у меня был хороший, и мне часто доставалось за него. Найдет, например, кто-нибудь из нас подохшего воробышка, косточку от курицы, крылышко или что-нибудь в этом роде, мы всей ватагой и давай делать ямку, гробик, завертываем предмет нашего удовольствия в тряпочку и загребаем его землей. На другой день мы смотрим, тут ли погребенная нами вещь. Но раньше этого мы спорили:

- Тут или нет?

- Нету...

- А вот посмотрим.

Предмет нашего удовольствия всегда бывал на месте. В войны же играли так: возьмем каждый по палке, станем все в ряд, кроме девушек, старшие командуют: раз! два! Мы вытягиваем ноги и хохочем. Это у нас называлось "войной", о которой мы имели такое понятие потому, что видели, как маршируют солдаты; и если нам говорили, что на войне убивают, мы не верили... Мы знали, что за убийство наказывают; а это мы знали из того, что мимо нашего дома каждую субботу возили на рынок грешников. Лишь только услышим мы барабанный бой, и кричим: "грешника везут!" - и бежим на улицу. Изо всех ворот выходили мужчины, женщины и дети, каждому хотелось взглянуть на грешника.

Невольно и я побегу посмотреть.

- Смотри, недолго. Я бы сходила, да некогда, - говорит мне тетка. Впрочем, она часто ходила за толпой. Тогда я оставался дома, но скоро убежал и крался, как кошка, за этой толпой, стараясь не попадаться на глаза тетке. А в толпе говор:

- Экое, подумаешь, наказанье! Подумаешь ты: ведь неловко ему, бедному.

- Поди, кается, голубчик.

- Ах, Машка, я и забыла грошик-то взять... Как я пойду с пустыми руками: ведь неловко, как не бросишь на шафот-то.

- Ну, я за тебя брошу.
- Нет уж, я своими руками.
- Говорят, что этот палач себе берет.
- Ну, бог с ним! Ты лучше нищему не подай.
- Ай дядинька! за что его везут-то?
- За воровство.
- Ишь ты! Вот бы Анкудиниху так-то пробрать!
- Чего Анкудиниху! Вот Тарасов что делает...

Не казнятся, черти... А поди, и они тут же, - и т. п.

Дядя мой ругал тех людей, которые бегают смотреть грешника. Он говорил, что это дураки бегают, сами не зная, почему бегают, так же как сами не знают, почему они ходят пожары смотреть; говорил, он также, что они ходят для развлечения, потому что дома им нечего делать. Но дядя мой понимал это по-своему, а тетка и люди - по-своему; тетка даже говорила, что она не потому ходит, чтобы смотреть, как наказывают, а чтобы пожалеть его и бросить ему гривенку денег. Того же мнения были и соседи наши. Мы же, дети, ходили бессознательно, и нам очень было жалко наказываемого, страшно, потому что в это время была такая мертвая тишина, что только и слышны стоны наказываемого. Мы уходили молча, сердца наши бились; по ночам мы бредили и как-то боялись. Зато днем находились из нас такие артисты, которые изображали подобную же операцию над деревом, веревкой или голиком. Выходило забавно, но еще забавнее выходило то, что этого артиста непременно в этот день наказывали розгами - или родной батюшка, или родная матушка.

Играли мы еще в лошади, но украдкой, и за эту игру нам больно доставалось от родных. Зато нам не запрещали пускать змейки. Сделаешь змеек и бежишь в восторге, распуская нитки, то по улице, то по огороду, и только присмиреешь, когда услышишь крик дяди или родственника:

- Я тебе, шельма ты эдакая!..

Родные наши очень были строги и не любили все наши игры. Они хотели, чтобы мы сидели смирно; они боялись, что мы издерем и измараем рубашки и платья, ушибемся. Все это делалось, конечно, с целью, чтобы сберечь нас. Но что же было нам делать, как только не играть? Нам ничего не читали, ничего не рассказывали хорошего, не велели дотрогиваться до книг. Если же мы спрашивали: а почто это гремит? почто идет так скоро туча? - нам говорили: не ваше дело!.. Если мы приставали с расспросами, нам отвечали подзатыльниками. Как теперь помню, вся забота наших родных состояла в том, чтобы мы во всем слушались их, пересказывали все, что говорилось другими про них, не знали с теми, кого и они не любят, меньше ели. При этом они говорили, что хотят из нас сделать подобие себе, и указывали на какого-нибудь служащего молодого человека: "Посмотри-ка, какой человек-то стал!.. А ведь как били-то его, бедного... зато выучили".

Дядя начал меня учить грамоте. Азы я учил целый месяц, писал букву "а" также целый месяц. Знаю, что много терпенья затратил дядя на мое ученье. Подзовет он меня к столу, заставляет читать - и так строго заставляет, что я боюсь его и молчу. Он крикнет на меня: ну! Я задрожу, Он ударит меня, я в слезы; он хуже: привяжет меня к столу и уйдет. Как только он уйдет, я начинаю ковырять указкой буквы, вырываю листки из азбуки. Дядя выпитися, придет ко мне.

- Выучил? Я молчу.

- Что же ты?

Я смотрю на него, надуваю губы и со злостью смотрю в угол.

- Так-то ты?! - Он схватит ремень и начнет меня драть. Я возьму да и укушу ему руку...

Родственники видели во мне глупого мальчишку и постоянно называли меня лентяем. Одна только бабушка жалела меня.

- Учись ты, дитяtko, учись!

- Не хочу!

Она на меня прикрикнет: в солдаты, что ли, захотел? Я заплачу и скажу:

- И ты такая же злая.

Товарищи-друзья издевались надо мной: вот мы так много выучили! - хвастались они.

Наконец дядя отдал меня в науку одному старому отставному чиновнику с платою ему по четыре рубля в месяц. У этого чиновника, как я помню, были две страсти в это время: он любил птиц, которых у него было постоянно до семидесяти штук и восемьдесят садков, отчего комната его, и без того грязная и темная, имела довольно неказистый вид; птицы пели, стучали носами, а он поддразнивал какую-нибудь птицу. Он изредка продавал птиц, и продавал только таких, которые ему чем-нибудь не нравились; хороших птиц он держал с какою-то целию и свою цель никому не высказывал, а говорил, что ему нравится держать птиц. Он с наслаждением осматривал каждую птицу, с наслаждением чистил садки и говорил: "О, ты, моя маточка! Ишь как расходилась! Ну-ко, куси палец..." Забавно было смотреть, как он брал особенно любимую им птицу в руку, дул на нее, целовал и говорил: так бы и съел тебя, маточка, да жалко. Чиновники называли его птичьим сводником, редко заглядывали к нему и говорили, что он сошел с ума от птиц, хотя ни я, ни ученики его этого не замечали. Он до безумия любил свою сестру, которая, как говорили люди, вовсе не сестра ему, потому что многим моложе его. Когда она вскричит на него, он растеряется так, что у него и садок выпадет из рук; скажет она ему: "Сходи на рынок", - он и птичью любезность бросит, побежит на рынок, но предварительно лезет целоваться с сестрой, которая при этом говорила ему: иди, мохнорылой; ишь, не обрился, а туда же целоваться лезет!

- Некогда, маточка.

- Набрал себе поганых птиц; вот распуцу всех...

- У, ты, курочка-мохноножка!

Вторая страсть его была учить детей. Своих детей бог ему не дал, вот он и взялся, по знакомству, учить ребят. Всех нас было штук восемь, и мы у него учились мало, потому что он задавал нам уроки на дом, а дома только спрашивал по книжке и кое-что рассказывал из священной и всеобщей истории. Кроме этого, мы помогали ему чистить садки и учились петь. В праздники он водил нас в церковь и пел с нами на клиросе. Он никогда не теребил нас за уши или за волосы, а любил наказывать нас голиком, своими руками.

- Ты не сердись, голубчик... Я маленько, потому что мне это нравится, да и тебе привыкать надо к этому - говорил он нам перед наказанием.

Мы были привычны к этому и всегда смеялись, когда он наказывал нас. А он очень легко наказывал нас, так что его сестра говорила ему:

- Что ты их мажешь?



Думаешь, я тебе доверю... Я люблю ребяток...

Я кое-как умел разбирать печать и кое-как писал крупные азы; поэтому три месяца моего учения у чиновника прошли без пользы для меня. Не знаю, долго ли бы я проучился у него, только я ему хорошо насолил. Как-то я остался один у него. Мне захотелось посмотреть, летают ли эти птицы по комнате и улице, а того и не сообразил, что они могут улететь совсем. Я отворил сначала окно и растворил четыре садка. Птицы вылетели из садков, полетали по комнате и, одна за другой, улетели в растворенное окно на улицу. Я хотел было поймать, да их и след простыл... Стою я у окна и плачу; входит учитель.

- Что ты, разбойник, делаешь? - И он оттолкнул меня от окна.

- Ничего... - А сам думаю: убьет он меня.

- А зачем плачешь? Ах, господи! Где соловей?.. где канарейка?.. Ах!.. ах!..

- Убежали...

- Да знаешь ты, мошенник эдакой, я за них тысячи не возьму...

Он меня вытолкал в шею, и я с тех пор не видал уж его.

Уже с год поговаривали, что меня отдадут в училище, и я очень радовался, что буду учиться в училище, где много будет товарищей. Но дядя все откладывал почему-то, говоря, что я еще мал. Мы тогда жили в почтовой дворне, и я делал там разные штуки. Мне очень было забавно, как почтальоны дрались у печки, и я пользовался случаем, чтобы злить их как можно чаще. У одной печки стряпали две-три женщины-хозяйки, потому что около одной печки, устроенной в кухне и выходящей одной стороной в комнату, жило две-три семьи, и, стало быть, каждая имела право на стряпню в этой печке; но каждая хотела непременно одна стряпать. Сдвинет, например, Семениха горшок Ивановой, Иванова толкает горшок Семенихи и ставит свой горшок. Третья лезет пирожки жарить.

- Ты куда?

- А ты куда?

- И подождешь!

- Плевать мне на твои горшки!

- Подожди, тебе говорят!

- Экая фря! Откуда ты, сволочь, выплыла?

- Тьфу ты, проклятая...

И пойдет цапотня. Придут мужья.

- Ну-ну, смирно!

- Я вот те покажу, не твое дело.

- Молчи! ты знай свое дело в конторе, а мне не мешай.

Трудно было мужьям разнимать своих жен, и они совсем отступались от них. Тетка жила хотя и в особой комнате, но стряпала в одной кухне с тремя семействами. Она была неуступчивая и всегда жаловалась дяде на обиды их, дядя жаловался почтмейстеру. Хозяйки, заявляющие свои права на печку, сильно не любили тетку и всячески старались пакостить ей. Тетка

ругалась и говорила мне, чтобы я не знался ни с кем из них. Этого я сделать не мог, потому что на нашем коридоре было четыре квартиры, имеющие каждая комнату и кухню, в которых, как я заметил раньше, жило по две или по три семьи. Мне нравилось тереться у какой-нибудь семьи. А нравилось потому, что я выглядывал там, нет ли хороших картинок, хороших книг с картинками; мне нравились платья, мебель и проч., и быть там казалось веселее. Увижу медные деньги, непременно стяну гривну или копейку. Если деньги были считаны, то жаловались тетке, что я украл; я запирался; тетка говорила, что на меня говорят напрасно. Если кто ругал меня или обижал, я сам тому мстил таким образом; однажды на только что развешанном во дворе для сушенья белье я начертил углем косые кресты; меня заметила одна женщина и привела к тетке за уши. Когда мне задали за это хорошую баню, я придумал новое средство к своей мести: нашел во дворе подохлую кошку, принадлежавшую этой женщине, и бросил ее в кадку с водой, принадлежавшую этой же женщине. Подумали на меня: меня отодрали и пожаловались почтмейстеру, что от меня никому нет покоя. Почтмейстер сделал выговор дяде. После этого мне так нравилось злить почтовых женщин, что я почти каждый день придумывал какую-нибудь штуку. И больно нравились мне мои штуки, и больно мне приходилось за них. Лишь только отдерут меня, я сажусь куда-нибудь в угол и думаю: что бы мне такое сделать? да так, чтобы не узнал никто. Пройдет мимо меня почтальон и смеется:

- Что ты видишь, драная харя!

- Что ты дразнишься, пес ты экой? Почтальон щиплет меня за волосы.

- Что дерешься, подлец! - и я ударю его.

Он отойдет и говорит: вор! вор! не ходи во двор...

Я соскочу и брошу в него чем-нибудь.

- Я те, сволочь! - скажет другой почтальон, выходя из дверей.

Пройдет женщина и, со злостью направляя на меня кулаки, говорит:

- У! подкидыш!

- Молчи, чуча!

- О-ох ты, чума сибирская!.. - Плюнет на меня женщина, уйдет и скажет тетке, что я обозвал ее скверною руганью.

Я крепко затаю злобу и начинаю выдумывать что-нибудь, и только выдумаю, смешно мне становится. "Уж сделаю же я над вами праздник!" - думаю я. И весь день я весел, так что тетка удивляется, что я весел.

- Над чем ты все смеешься?

- Ничего... так.

- Опять, верно, спакостил что-нибудь?

Стоит в коридоре чей-нибудь самовар. Самовар шумит. Я вытащу из него кран и заброшу его куда-нибудь, а сам спрячусь дома. И совестно мне становится своей глупости, а все-таки думаю: пускай!

Слышу я, что в коридоре суетятся: голоса бабы. Что-то баба запоет? - думаю.

- Ах, наказание божье этот парень!

- Смотри, как сел!.. Ведь восемь рублей стоит самовар-от! Ах, будь он проклят, этот парень.

Уж это он, больше некому.

И вытащат меня, и начинают расправляться. И выходило после этого то, что все кражи, сделанные не мной, сваливали на меня. Меня драли, мне тяжело было жить, а дяде еще хуже, потому что он платил деньги и ему не было проходу: вот он, ваш-то сынок, что опять наделал...

- Да будьте вы прокляты все! - скажет дядя и думает, что я страшный разбойник и что от меня надо всячески избавиться. Он отдал меня в бурсу, на том основании, что я принадлежал духовному сословию, хотя и родился тогда, когда отец был почтальоном. То, что меня взяли в бурсу, ухитрился сделать дядя, у которого много было знакомых из консисторских.

Сначала мне хорошо казалось жить с товарищами, и я вел себя очень скромно. Но когда меня, через неделю после поступления в бурсу, жестоко отодрали, я не залюбил бурсу. Мне не нравилась жизнь в заведении, несоюзность товарищей и жестокие розги; мне показалось, что у дяди вольнее жить и лучше. Дядя и тетка наказывали за дело, а здесь за какие-то уроки, которые я не считал нужным учить, меня два раза выстегали до обеда да раз после обеда... Целые две недели меня не выпускали никуда из заведения и почти каждый день драли, как лошадь, если не раз, то по два раза; товарищи били меня за то, что я воровал у них булки, сухие лепешки, привезенные им родными и родственниками. Я ни с кем не жил в ладу, хвастаясь дядей, и никто не любил меня; все стали жаловаться, что я краду булки; да если я и был прав, так находились товарищи, которые сами воровали и сваливали всю вину на меня. Так я прожил месяц и в это время ужасно переменялся - похудел и схватил золотуху. Тетка дала мне две-три пары рубашек и подштанников, но я весь месяц носил только одну рубашку, брюки и сюртук, а остальное у меня разворовали. Мне невтерпеж стало житье в заведении, и я задумал бежать. Бежать к дяде я боялся, потому что дядя приведет меня в заведение, а там я видал, как наказывали беглецов. Мне очень хотелось бежать к дяде, пасть перед ним на колени, плакать и просить, чтобы он взял меня к себе; я хотел всячески постараться угождать ему, не сердить его и не делать никаких пакостей ни ему, ни другим; но я все-таки боялся уйти к нему, боялся даже и тетки. Наконец я таки решился уйти во что бы то ни стало. Рано утром я ушел на колокольню, думая, что там никто меня не найдет. С замиранием сердца я просидел на вышке, над колоколами, то время, когда звонили к заутрене. После заутрени мне скучно сделалось, я заплакал и спустился к колоколам. Долго я смотрел на город и на реку, долго думал: куда бы мне уйти, - но ничего не придумал. Мне страшно захотелось есть, а сойти с колокольни боялся: я и теперь думал, что из каждого окна смотрят на колокольню, видят меня и говорят: вон он куда спрятался! - и я представлял себе картину: как схватят меня, как приведут к смотрителю и как начнут драть... В сердце точно кто ножом водил тогда, когда я думал: "А ведь теперь учатся!.. Их дерут, а меня нет... Меня не найти им", - и я радовался своему геройству... После обедни мне еще тяжелее сделалось; голод меня мучил. Пошел дождь, загредел гром, и я с трепетом, прижавшись в угол, дожидаясь себе смерти. Я так и думал, что гром непременно убьет меня; но все-таки мне еще жить хотелось... Когда прошла гроза и перестал дождь, я хотел идти в город, но не пошел. Вечером мне страшно сделалось: я боялся провести ночь на колокольне... Мне вдруг представилось, что колокольня может упасть и убьет меня... Я подошел к большому колоколу, моля его, чтобы он пришиб меня, но он не двигался... Долго после этого я стоял у перил и мне вдруг захотелось броситься вниз. Закружилась голова, и я чуть не бегом слез с колокольни. Ночь я провел на берегу у одной лодки, а утром отправился за реку. Весело мне было на вольном воздухе, на свободе, я, улыбаясь, смотрел на город и срисовывал на бумажку одну часть города. Я ходил как помешанный от голода и кое-как отыскал рыбачий шалаш. В нем не было никого. Там я увидел полковриги хлеба, взял его с собой и, не знаю почему, обрезал несколько удочек у снастей, распластав в нескольких местах невод, и сделал дыру на одной лодке. Этот день я провел хорошо, прогуливаясь по траве и по лесу и напевая песни. Я радовался, что я на свободе, что меня никто не стесняет и я могу делать

все, что только хочу: я торжествовал над тем, что я один из всех бурсаков убежал далеко, что их дерут... "Пусть вас дерут!" - говорил я громко и хохотал. Я очень был счастлив и не находил счастливее себя человека. Я думал: "А как хорошо! Ни за что я не пойду отсюда никуда, ни за что не пойду... Я и к дяде не пойду". Мне ничего не нужно было, хотя и казалось мне, что в каждом кусте дерева кто-то сторожит меня, а на некоторые кусты я даже и смотреть-то боялся. Когда проходил мой страх, я думал: а хорошо бы здесь соорудить дом. Я бы тогда дядю и тетку взял с собой жить, они бы тогда не стали меня бить. Потом мне думалось: нет, лучше бы денег побольше найти, тогда бы меня прямо сделали священником и учиться бы не заставили. Потом мне вдруг захотелось плыть куда-то дальше. Я стал грести кверху, но моя силы плохи были, и меня перло книзу. Я приплыл к берегу и стал доедать кусок хлеба, поглядывая на город.

- Я те, подлую рожу! ах ты, мошенник экой, каторжной! - услышал я позади себя. Когда я оглянулся, то увидел на горке мещанина. Лицо его было так страшно для меня, что я сильно струсил. Он подбежал ко мне.

- Так-то ты! так-то!.. Я тебе!.. - И он начал тузить меня не на милость, а на смерть... Я ничего не понимал, а только чувствовал его полновесные удары, а потом уж ничего не чувствовал. Очувствовался я уже тогда, когда не было ни лодки в воде, ни мещанина на берегу. На лице была кровь, голова страшно болела, волосы лезли. Я кое-как встал, начал бродить по берегу, не зная, что мне теперь делать. Не знаю, сколько времени бродил я по берегу, только, кажется, вскоре после того, как я встал с земли, я услышал свою фамилию со словами: вот он, беглец! Когда я взглянул на реку, то на середине ее увидел две лодки и в каждой по два сторожа и по три семинариста. Я пустился бежать в лес, не помня себя. Не помню, долго ли я бежал, только две дюжие руки схватили меня, связали накрепко и потащили безжалостно по кочкам, камням и траве, прибавляя в спину полновесные, крепкие удары палкой. У лодок меня дожидались дюжие бурсаки и смеялись: "Беглец! беглец! вот тебе зададут жару!" Я просил их, плача, отпустить меня, жаловался, что меня избили; но они все хуже и хуже издевались надо мной.

И была же мне баня!.. После этой бани я два месяца лежал в лазарете.

Вы думаете, я не стал после этого бегать? Как бы не так! Я еще в лазарете обдумывал план побега, и как только вышел из него, через день же убежал в завод, находящийся в трех верстах от города. И знаете ли, как я там промышлял себе пищу и пристанище в течение полуторах недель? Как только я вышел из города, я бросил сюртучок в реку, вымарал грязью свою рубашку, штаны, лицо и пошел в заведения и дома просить хлеба ради Христа... Меня спрашивали:

- Чей ты, парнюга?

- Чей? материн, - отвечал я.

- Знаю, что не собачий... Кто у те мать-то? Я затруднялся отвечать и молчал.

- Что молчишь?

- Да мамка-то померла у меня, давно померла; бросила...

- Ишь ты! Экое, подумаешь, наказанье!.. Ты бы в люди пошел.

- Не принимают. - Я плакал, и плакал я не представляясь, а не знаю, почему мне горько было, и горячи были мои слезы...

- То-то. Видно, мол, трудно. А ты поди к управителю, он те пристроит.

- Боюсь, стегать будет.

- Уж не без того... А ты уж похлебай щец.

Я рад не рад, что меня призрит добрая хозяйка, а сам думаю, чтобы да она не сказала кому-нибудь про меня, да не узнал бы дядя. Сяду я на лавку и сижу смиренно, смотрю дико. Ребята оглядывают меня, сторонятся как-то, а говорить со мною не хотят и только шепчутся... Сядет хозяин обедать и детей посадит с собой, а я все сижу в углу да смотрю, как они уписывают да на меня смотрят. Мне так и кажется, что они издеваются надо мной да думают: посмотри-ко, как мы едим!.. И сижу я, как собачонка, с жадностью и злостью смотрящая на своих хозяев, как они едят хлеб и хлебают щи и что по их вкусу, и с гордостью смотрят на нее, говоря: подождешь! вот остатки будут... а не будут - извини... И жду я этих остатков, и стыдно мне, что я жду, так вот и хочется самому схватить все со стола и все поесть... И думаешь со злостью: "Экие у них рты-то огромные!.. эх, они едят-то сколь!.. А кто они такие?.. Погодите, утру я вам нос!" А чем - я и не знаю, стыжусь своего положения; боязнь опять приходит ко мне... Словно я наемся чужого хлеба, и сладок этот хлеб!.. Недаром же я просил его Христа ради! Ночами я время проводил или у мастеровых, или где-нибудь на сараях.

И много я увидел там, много я заметил хорошего; мне так понравилась простота ихняя, что я хотел на всю жизнь остаться у них...

Сколько я ни старался избегать нищих, которых я не любил по-своему, но мне все-таки приводилось сталкиваться с ними. Дети их, старше и моложе меня годами, были слишком грубы. Я захаживал в их жилища, и много я там узнал такого, что заставляет их ходить по миру. Из их жизни можно было бы написать целые романы и истории, но не все же интересно для большинства; много есть такого, чему можно и не поверить. Здесь я расскажу, как можно короче, несколько примеров нищенства.

Нищенку Аринку знал весь завод. Знали ее потому, что она все собираемые деньги тотчас же пропивала в кабаке и валялась после этого пьяная на улице. Ее уж не брали в полицию. А не брали ее в полицию потому, что казакам взять с нее было нечего, и так как в полиции всегда было много людей, а для Аринки нужно просторное место, потому что она никак не может сидеть или стоять, то решили, что ей гораздо лучше лежать на улице. У нее были две дочери: Анна, восьми лет, и Парасковья, девяти лет. Они также ходили по миру и жили в общей квартире, в стойле, где пока не было коровы, которою снабдил их из жалости мастеровой. Она была солдатская жена. Вышла она замуж за крестьянина восемнадцати лет. Через пять лет мужа ее взяли в солдаты. Ей трудно было жить в чужой семье с двумя ребятами. Однако она билась полгода. Ее стали корить чужими хлебами, отняли мужнин дом и, наконец, вытолкали из дома. Она пошла в город на работу; но что может сделать одна женщина с маленькими ребятами? Сначала она работала на кирпичном заводе, оставляя детей в каком-нибудь углу, а спала в самом заводе. Потом она приучилась попивать водку с рабочими, заболела и больная пошла по миру. Ходить по миру ей очень понравилось. Дети тоже пошли по миру и ходили одни, без нее. Они часто сталкивались со мной, но я прятался от них, потому что мне не хотелось делить подачек.

Много есть таких нищенков, которые с самого детства нищенствуют. Зато они ругаются, как иной пьяница не ругается, предаются разврату с мужчинами ихнего сорта, пьянствуют, дерутся и обижаются, если им подают мало.

Нищенка Танька росла в чужих людях. Много она приняла горя в чужих людях, много была бита. Но и в чужих людях бывают радости. Она полюбила одного гимназиста. Ее выгнали из дома. Долго она ходила из дома в дом, ее не принимали; не принимали ее и в больницу, и она, чтобы найти себе приют, украла на рынке у какой-то старухи кошель с деньгами, и ее посадили в острог. В остроге ребенок ее умер. Ее оставили в подозрении, а после трех лет ее

обвинили опять в воровстве. Она пробыла год в остроге, испортилась там совсем, и когда получила свободу, то пошла по миру. И часто эта Танька сидела в остроге и в полициях безвинно. И никто не любил ее, а подавали ей милостыню только ради Христа, хотя и знали, что не впрок эта милостыня. И жалко было смотреть на эту бедную, но ее никто не жалел...

И много-много я видел таких нищенок!

Весело и грустно мне казалось, когда мне приводилось быть в их компании, а отчего это так - я плохо смыслил в то время... Шумно они проводили время, но не все так проводили время, многие плакали. Сидит, например, какой-нибудь отставной солдат, с орденом на шинели, с деревяшкой под левым коленком, сидит он грустно. Над ним смеются, а он то и дело поет: "Ах, больно сердцу моему!" - и стучит кулаками отчаянно по столу.

- Где ты ногу-то пропил?

- Где? На войне...

- Врешь ты все - отморозил.

Сердится солдат и выкладывает с досады остальные гроши, приговаривая: вот где! - и потом рассказывает в сотый раз историю, как он лишился ноги и отчего он пошел нищенствовать. Я только знаю его слова такого рода: "Вы думаете, я стал бы якшаться со всякой швалью?.. а я, поди-ка, - жрать хочу; нажать деньги могу... Ну, и наживаю да пропиваю, а как пропью, и пойду собирать".

- Так зачем ты по миру ходишь, коли работать можешь?

- А обидно, что за работу мало дают. Обидно, что за ногу мало дали... А будь-ка нога, я бы козырем ходил и с вашим братом не стал бы якшаться. Думаете, мне не обидно, что ли, сволочь вы экая! - И запоет: - "Больно сердцу моему!"

На меня все смотрели как на зверя. Многие думали, что я непременно барского рода, потому что на мне была ситцевая рубашка и лицо у меня было незагорелое.

- Ты, парень, кто такой?

- Материн, - обыкновенно отвечал я. На это мне отвечали ругательствами. Обзывали мою мать, моего отца - и многим тут доставалось.

- Чей ты? - спрашивали меня опять.

- Не знаю.

Меня опять ругали и били, и снова доставалось всем, живым и мертвым.

- Пей водку!

- Не хочу.

- Тебе говорят: пей!

Ко мне приставала вся честная компания: кто теребил меня за волосы, кто наливал мне на голову водки, кто засовывал руку за мою пазуху и обирал все, что было у меня там спрятано.

- Пляши!

- Не умею.

Меня начинали бить и силой заставляли плясать.

После подобных сцен у меня голова ходила кругом. Я долго не мог опомниться от всего слышанного и виденного. Я даже досадовал на себя, зачем я пошел в завод. Так мне показались гадки все нищие, что я всячески старался избегать их; но они все-таки находили меня и тащили с собой. Я кричал и просил встречных чтобы меня спасли от них, но никто не давал помощи. Искал я в заводе и такого человека, который заставил бы меня работать, но меня не хотели брать без имени, а своего имени я не хотел сказывать... И бог знает, что бы было со мной дальше, если бы не спасла меня одна женщина. Раз я пришел в один дом просить ради Христа. Лишь только я вошел в избу, меня взял страх: я увидел ту самую женщину, которая по два раза в неделю носила тетке молоко и знала меня очень хорошо. Эта женщина любила меня и носила мне пряничных петушков в праздники.

- Что это с тобой? - сказала она, увидев меня, и хлопнула руками по бокам.

- Ничего.

Зачем ты здесь? Ах, страм какой!

Я заплакал.

- Вот-то будет тебе пару и жару!.. Отец хороший человек, а он, гляди же ты, по миру ходит. - Меня обступили ее дети; я плакал.

- Ай, ай! беда какая! Тебя там, сбились, ищут, а он - гляди же ты.

- Не сказывай, тетушка, родименькая... - плакал я, чувствуя всю свою беду.

- Ах ты, пострел ты эдакой! Ну, как я приму тебя? Ну, зачем ты пришел ко мне?..

Я не знал, что отвечать, и плакал. Она сжалилась надо мной: умыла меня, одела, накормила и уложила спать, а сама отправилась в город. Она ушла потому, чтобы ей выслужиться перед дядей и наговорить про меня ужасов, вероятно, из сострадания, так как и у нее были дети, только ее родные...

Дело известное, что было после этого... Результатом моего бегства было то, что меня исключили из духовного сословия, и я сделался работником на своих воспитателей. Мне тогда исполнилось только что десять лет, то есть пошел уже одиннадцатый. Трудно мне жилось в это время! Я забыл всех своих товарищей по бурсе, забыл учителей и знал, что меня все забыли. Последнее мое бегство было скрыто от семинарского начальства. Помню только то, что в это время я был очень задумчив и сам собою выучился читать и писать.

В течение одного года, после моего бегства на завод, я предоставлен был решительно самому себе. Сделавши, по силам, что нужно у дяди, я забивался в угол и там сидел до тех пор, пока меня не вызовут оттуда зачем-нибудь. Мне скучно и неприятно было сидеть там; я много думал о своем положении и ничего не видел хорошего ни в настоящем и не ждал ничего утешительного в будущем. Когда мне становилось очень тяжело, я плакал, - да и было отчего: меня укоряли отцом, моими поступками и с утра до вечера никуда не выпускали, да я и сам никуда не шел: мне почему-то стыдно было людей. Теперь я уже не делал никаких пакостей. Одно только было у меня удовольствие - это когда меня отпустят рыбачить. Лодки мне не давали; а когда отпускали, то делали строгие внушения, чтобы я не посмел бежать; но я решительно не имел этого намерения, зная по опыту, что десятилетнему бежать очень трудно и очень глупо. И куда бежать? Рыба меня мало занимала, и я больше думал. И бог знает, о чем я думал... Я нисколько не винил воспитателей в том, что они строги; я даже

благодарил их, что они содержат меня, и мне досадно было только за то, что они сердятся на меня во всех своих неудачах, как будто в их неудачах я один виноват.

Вот как я понимал тогда своих воспитателей. Дядя сетует на судьбу, что он беден. При своей бедности и при своем грошовом воспитании, он не мог, конечно, выставиться перед начальством и получить хорошее доходное место, хотя и чувствовал способность к такому месту. Я полагал, что дядя умный человек, и заключал это из того, что с ним говорил ласково начальник, который служащих отличал по-своему... Дядю я считал простым и добрым человеком, потому что все отзывались о нем как о хорошем человеке, и он ни на кого не сердился. Вскричит он, а потом смягчится и скажет: "А бог с ним!" Если у него были лишние деньги, он давал их тем, кто был очень беден; и знаю я, что он редко получал долги. Он до того был прост, при своей должности, что играл в бабки с почтальонами, чего бы, конечно, не сделал другой человек при его должности; а это я знал из того, что над ним смеялись люди, старше его по должностям. Сколько я ни сличал его обращения со мной и с другими, я находил, что все-таки он добр ко мне: он взял меня к себе, хотя у меня есть какой-то отец, принял через меня много неприятностей... Я сознавал, что я глуп и мне должно любить его, потому что он держит меня, как сына; а это я знал из того, что все, что на мне, пища, чистый угол, - все его. Чего же мне-то надо? Отчего же я-то такой?

Тетка была капризная женщина, но добрая и уступчивая; она даже была мягче дяди. Своим врагам она сгоряча готова была бог знает что сделать, но потом плевала на все и на другой же день говорила с ними, как и прежде. Ее называли все доброй и часто советовались с ней. Она была только ворчлива; любила, чтобы все делалось скоро и так, как она хочет; не любила, чтобы ей говорили наперекор, а исполняли все то, что ей хочется, и ей было обидно; что выходило иначе; но всего обиднее было то, что тот, кого она лелеяла ребенком, не хочет так сделать... Она думала, что выкормила какого-то врага себе, и это ее бесило; она и высказывала это, как умела... Впоследствии мне приходило на мысль, что ей скучно и потому она рада поворчать и потешиться надо мной. Будь она образованнее, она не мучила бы меня криком, бранью и разными ужасами... Теперь ей всячески хотелось сделать из своего воспитанника хорошего человека, такого, чтобы он не сказал после об ней ничего худого и был на зависть людям; но она не умела растолковать это мне, приучить меня к тому, что ей хочется, и она излагала свое ученье, как было ей лучше и как она умела. Ведь говорили же мне чужие люди, что она хорошая женщина и желает мне добра; говорили они, что редкие дети воспитываются так!.. Да, я ел хорошо, одевался чисто, и она нередко давала мне даже пряники и конфеты, говорила ласково - в таком роде: "Ты думаешь, мне не жаль тебя!.. Ты ноги мои должен мыть да воду пить. Ну, что бы ты был без нас, скотина ты эдакая?"... Хотя мне и не нравились эти слова, но я молчал, смотрел на нее, утирая слезы, и готов был бог знает как благодарить ее...

Дядя каждый день говорил тетке об моем отце в это время. Он говорил, что мой отец просил похлопотать насчет места почтальонского; потом говорил, что это место он выхлопотал ему в одном уездном городе и только ждет его сюда. Я очень радовался, узнав о том, что наконец-то увижу настоящего отца. Но меня брало раздумье: как мне встретить отца, что говорить с ним? - а спросить об этом тетку я боялся; я даже боялся того, что испугаюсь его. Тетка мне только говорила: "Погоди, уж вот, как приедет отец, мы отдадим ему тебя. Подожди! Уж тогда, брат, на нас не пеняй, и мы тебя уж к себе не возьмем". Мне досадно и больно было слышать эти слова. Я думал: чем же виноват мой отец, что дядя взял меня к себе? Ведь отец мог бы, кажется, содержать меня, коли он до сих пор еще жив? или он уж так беден, что постоянно нуждается в дяде и сам собой не может прокормить самого себя? Эти мысли я развил еще потому, что дядя и тетка постоянно говорили мне, и между собой, и знакомым, что дядя воспитал моего отца, женил и во всю жизнь помогает ему, так что он сидит у него на шее или, сказать проще, дорого стоит ему. Я так и решил, что мой отец, вероятно, так же рос, как и я, и ужасался, чтобы такая же участь не постигла меня в будущем... А ведь я очень мог быть таким же, как и мой отец. Но как я ни думал об отце,



все же мне было жаль его, жаль потому, что он мой отец. Мне приходила в голову и такая мысль: неужели ему не жалко меня? неужели он забыл, что у него есть сын? или он рад, что избавился от своего детища, поручив его тому, кто воспитал его? Думал ли он обо мне сколько-нибудь? Знал ли он то, что будет со мною в будущем? Вероятно, он думал, что я буду почтальон или сортировщик в губернской конторе... Вероятно, он не допускал мысли, что я могу быть и хуже его... Ничего я этого не знал, а только представлял себе его положение; мне жалко было моего бедного отца, и я горько плакал, моля бога, чтобы моему отцу он дал счастья и благополучия... Не знаю почему, а в это время я сильно задумывался об отце, и даже хотел, если бы у меня было богатство, отдать ему все мое богатство и жить только с ним одним.

Я представлял себе отца измученным, избитым человеком, в самой худой, никуда не годной одежде, таким, какими я представлял себе нищих. Это я представлял потому, что я видал много людей. Все, кто сколько-нибудь имеет денег, живут, не жалуясь на свою судьбу, ходят не оборванные, и хотя просят в долг, но все-таки живут так, что об них не говорят ничего худого... А подобных людей я видал в почтальонских семействах и эти семейства сравнивал с мещанами и рабочими людьми в городе; по моему мнению, каждый человек в изодранной одежде, едва прикрывающей тело, уже был пьяница, нищий, и я злился почему-то и на кого-то, сам не зная причины бедности. Мне только казалось, что эти люди сами виноваты; а это я заключил из того, что мой дядя и люди, которых я привык уважать, ходят лучше таких людей, что они все-таки умеют как-нибудь приобрести себе что нужно, работают и не пьют водку так, как эти оборванцы. Наконец, мне противно было смотреть на этих людей потому, что я сам жила в обществе нищих и слышал много такого, чего я никогда не слышал у дяди, у его родственников и знакомых; а по одним ругательствам я считал в то время человека за самого отчаянного, от которого не может быть никакой пользы и которому, может быть, очень скоро придется быть грешником... При этом мне опять представлялись картины нищенства со всеми ужасами, и я удивлялся, каким это образом дядя не боится держать меня у себя?..

Почты часто приходили по ночам, и я несколько не интересовался тем, что дядя уходил в контору и приходил домой ночью. Меня не тревожили в это время, и я спал спокойно. Но один раз дядя пришел с кем-то. Было очень темно, когда вошел дядя и с ним какой-то человек, присутствие которого я узнал из шороха и кашля.

- Вот ты где живешь! - сказала другое лицо грубым голосом и закашлялось.

- Это ты, брат? - сказала тетка; голос ее дрожал.

- Я, сестра. (Я подумал: что это он все кашляет и как будто сопит.)

- Ну, зажигай свечку. А тот спит? - проговорил дядя.

- Что ему... - сказала тетка.

Я догадался, что это, верно, мой отец приехал. Я задрожал, сам не знаю почему, и стал вслушиваться.

- Ну, что он?.. - говорил посторонний.

- Смучились, брат, смучились, - сказала тетка, зажигая свечку.

- Она избаловала, - проговорил дядя.

- А вы бы его хорошенько утюжили... заправки. Я приподнял немного голову и стал смотреть на постороннего человека, который, стоя у стола в комнате, закуривал дядину папироску, между тем как дядя снимал с себя сперва сюртук, потом жилетку и брюки. Гость был в

почтальонской одежде; лицо его запухло, и видно, что давно не брито; сам он роста среднего, не толст, - а видно, что телосложения здорового! Он ничем не отличался от обыкновенных разъездных почтальонов. На вид ему было годов двадцать восемь.

- А меня, брат, просто измучили!.. - говорил он. - Я даже слышать стал плохо.

- Слышал я.

Тетка подошла ко мне и сказала тихо:

- Вставай! отец приехал...

Меня опять как будто обдало морозом; я не мог пошевелиться, не мог вымолвить слова.

- Вставай! Экой бесстыдник... Тебе говорят, отец приехал! - И тетка толкнула меня ногой. Я нехотя сел на войлок, который был послан на полу и на котором я спал.

- Боюсь, - сказал я.

- Ну-ну, не съест.

Я встал, надел халат. Тетка потащила меня в комнату и подвела к моему отцу, который оглянулся в мою сторону и стал смотреть на меня как-то дико. Последовала немая сцена.

- Большой вырос; жених... - сказал отец.

- Что же ты не здороваешься с отцом-то?.. Ведь это отец твой, - сказал дядя. Голос его дрожал.

- Ну, поцелуй у него ручку, - сказала тетка и утерла глаза рукавом. Я не двигался, молчал, дико смотрел на своего родителя и хотел убежать из комнаты поскорее, сам не зная почему.

- Зачем!.. Ну, здравствуй... Слушаешься ли ты дядю и тетку? - проговорил отец и закашлялся.

- Слушаюсь, - сказал я и хотел еще что-то прибавить, да ничего не прибавил.

- Ну, и ладно... Слушаться надо.

Опять настала немая сцена. Все как будто тяготились чем-то; у всех как будто в это время было тяжело на душе, но никто никому не высказывал своих чувств. Отец мой как-то печально смотрел на меня, дико смотрел на дядю и тетку и изредка кашлял.

- Что же ты не поцелуешь сына? - сказала тетка моему отцу.

- Да что его целовать-то?

- Все же, ведь он сын тебе.

- Что сын! не я выростил.

- Ну, поцелуй! - настаивал дядя.

Тетка подвела меня ближе к отцу; тот нехотя прикоснулся своими щеками к моему лицу и уколол его мне своими щетинами. От него пахло водкой.

- Ты называй их отцом и матерью, слышишь? - сказал мне отец. Я ничего не сказал ему на это.

- Ну, спите, - сказал дядя.

Я ушел в кухню и лег на свою постель. Отец говорил с дядей.

- Ах, брат, как меня избили там! Ты не поверишь, что этот смотритель каждый день топтал меня ногами, бил меня в грудь...

- Плохо, брат... Говорил я тебе: пей, брат, меньше, а ты все свое.

- Не могу, брат, досадно больно.

Разговор продолжался в этом роде недолго. Дядя и тетка уговаривали отца остаться ночевать у них, но отец ушел спать в контору. Когда он уходил, то сказал им: "Прощайте!" - а меня даже и не помянул. После его ухода я долго думал об нем. Я раньше думал, что он когда увидит меня, то обрадуется, будет целовать и плакать, - это я видал во многих семействах, где отцы долго беседовали с детьми после долгой разлуки с ними; но вместо этого я заметил, что отец мой обошелся со мной как с чужим. Я даже рассердился на него: отец ли он мне, если и поговорить-то со мной как следует не хотел?.. Утром отец пил у нас чай и мне ничего не сказал. Он говорил с дядей и теткой больше о своем бедном положении, о смотрителе, у которого он служил писарем, о разных почтмейстерах и новом своем месте. За обедом я уже не дичился его; я узнал, что он не сердитый, и когда он остался один со мной, - в то время, когда дядя ушел в контору, а тетка на; рынок, - я начал говорить с ним, как со старым знакомым.

- Вы, тятенька, долго здесь проживете?

- Нет, а что?

- Так... Вы поживите!

- Чужой хлеб есть?.. Нельзя. (Он говорил нехотя, покуривая трубку с махоркой и глядя в угол.)

- А скоро вы опять сюда будете?

- Не знаю...

- А у вас есть деньги?

- Тебе на что?

- Надо... На пряники надо.

- Нету у меня денег.

Я почему-то выхватил у него трубку и стал курить, как обыкновенно делывал с почтальонами. Отец не препятствовал мне, а только сказал:

- Балуешь ты много! Драть тебя надо, как Сидорову козу... Дай трубку, ножевое вострее!

- А я не боюсь тебя, не боюсь! - и я корчил свое лицо.

- Тебе говорят - дай! - и он выхватил трубку.

- А ты, тятенька, как мне будешь отец-то?

- Скажу я ужо брату-то, он те скажет! - Отец плюнул в угол и ушел от меня.

Вечером, за чаем и ужином, тетка долго говорила отцу об моем непослушании и обо всех моих штуках; отец только отвечал: дери ты его, сестра, что есть мочи дери... Ишь, какой он востроглазый, так и глядит разбойником...

- А ты, брат, возьми его с собой!

- Куда мне с ним?.. Не надо.

- Все же лучше. Тогда узнаешь, какой он.

- Мне и одному-то горько жить, а он меня совсем свяжет.

- Теперь уж он не маленькой.

- Не надо мне его, сестра... Делайте вы с ним что хотите, а мне не надо.

- Только смотри, брат: как он сделает что-нибудь, мы непременно отошлем его к тебе.

Отец на это ничего не отвечал. Пришла почта, и он стал собираться в дорогу.

- Простись с отцом-то, - сказала мне тетка. Мне не хотелось прощаться с ним, и жалко было, что он уезжает.

- Ну, прощай! да смотри, слушайся, - сказал он мне и пошел прочь.

Мне тяжело было, что отец уехал, а я не высказал ему своего горя. Я готов был жить с ним, и жалко мне было дяди и тетки. Нет, думал я, он не отец мне. Все они врут, что он отец. Это я говорил с досады, хотя и верил, что он отец мне. И долго я думал об нем. Часто я видел его во сне с поднятым на меня кулаком и с угрозами. Но потом я забыл его совсем, до тех пор, пока дядя не получил от него длинного письма, в котором он писал, что он оглох и его обижает почтмейстер... Через год он проезжал через наш город и обедал у нас. В то время он был уже совсем глух, разговаривал мало, а со мной вовсе ничего не говорил и даже не простился, как поехал. Его перевели в другой город. Целый год он посылал дяде письма, в которых описывал свое горе и то, что его все обижают. Там он редко пил водку и скоро умер скоропостижно. Когда я узнал об его смерти, я долго плакал об нем. Горячи и ядовиты были мои слезы, и плакал я, как помню, потому, что теперь я остался без отца и без матери.

Дяди и тетки я в это время как огня боялся, но так приучился к их брани, что даже не обращал на нее внимания. Кричит тетка, я вздрогну, побегу, куда она скажет, не дождавшись того, зачем мне идти, и останавливаюсь дослушивать приказ того, чьи меня остановят затрещины. Кажется, уж можно бы было приучить себя к тому, чтобы на все смотреть равнодушно, однако я был все-таки дик. Я постоянно сидел в углу за дверями с какой-нибудь книжкой или катехизисом, но эти книги были для меня мученьем. Хотя я и читал их, но решительно ничего не понимал. Бывало, держишь книгу, смотришь на буквы бессознательно, рассердишься, буквы словно прыгают; потом плюнешь на страницу, закроешь ее другой страницей и любишься, как слюна расплзается; или намочишь палец слюной, прижмешь его к буквам и вырвешь таким образом несколько букв. Это мне очень нравилось, и я целые дни проводил время таким образом. Когда надоест это, станешь что-нибудь рисовать на страницах или пишешь на лоскутке бумаги что-нибудь, обыкновенно два или три слова, до тех пор, пока на бумажке уже не останется места. Это я делал секретно, потому что тетка часто заглядывала за дверь - что я делаю.

- Что ты делаешь?

- Учю.

- То-то - учю.

Я знал, что она не умела читать, и закрывал свое маранье страничкой. Но и это мне надоедало. Мне завидно было, что дети дяди Антипина читают книги, и я стал воровать книги из дядина сундука, который стоял на погребке. Книги эти были старые, разрозненные, доставшиеся дяде неизвестно каким образом. Сам дядя теперь не мог читать никаких книг. Книги эти я крал таким образом: пойду на погреб за сливками или молоком и подхожу к сундуку. А что сундук этот с книжками - я узнал из того, что тетка однажды перебирала их там, отыскивая какие-то инструменты. Если в погребке нет никого, я прежде всего подбегаю к сундуку, и если на него ничего не поставлено, тотчас отпираю крышку и вытаскиваю такую книгу, какая попадется под руку. Тетка не могла понять, что я так долго делаю в погребке, а я говорил ей что-нибудь такое, за что она ограничивалась только одною бранью. Читал я секретно таким же образом, как и рисовал секретно: и дядя, и тетка долго не знали, чем я занимаюсь в углу. Читал я все, что попадалось, с любопытством, хотя из этих книг я очень мало мог приобрести для ума и много в них не понимал. Антипин говорил дяде, что мне не мешает читать книги, и эти книги может дать мне его сын, но дядя сердился, говоря: "Ему нужно уроки учить, а не книжки читать". Дядя рассудил так об этом потому, что был убежден, что читать книги есть праздность. Тетка же была такого мнения, что можно читать только божественное, но и с этим дядя редко соглашался; и если тетка заставляла меня читать какие-нибудь проповеди, взятые ею у какой-нибудь знакомой, дядя гнал нас из комнаты, говоря, что мы мешаем ему. Каково же было удивление дяди и тетки, когда они узнали, что я таскаю книги из сундука! Тетка меня сама застала на практике. И была же мне хорошая баня после этого, и хотя за мной строго следили, чтобы я не читал ничего постороннего, кроме арифметики и катехизиса, и не одну книгу бросили в печку, я все-таки продолжал читать тайком.

При гостях я вел себя чинно, так что даже сама тетка удивлялась моему смирению и прозвала меня подхалюзой. Если кто защищал меня, говоря, что я смиренный, то тетка говорила: "Полно-ка! в тихом-то омуте черти и водятся", - и при этом начинала подробно рассказывать о моих шалостях и проказах. Зато если я уходил из дома, я, как говорится, "на коле дыру вертел". Там я никого не боялся. Я дразнил почтальонов, как только умел, за что получал колотушки, за которые на них же жаловался своим воспитателям. В семействах мне случалось редко бывать; но зато если я бывал, то смешил всех своей фигурой и тем, что умел всякого представить: как кто говорит, ходит и рассказывает, - все то, что только замечал из чьей-нибудь жизни или подслушал от нечего делать. А подслушивать я был мастер и большой охотник. Я когда сидел в углу за дверями, то часто, от нечего делать, вертел в стене дыру гвоздем, и когда удостоверился, что дыра насквозь, я осторожно наставлял на дыру ухо и слушал; если за стенкой было тихо, я залепливал дыру бумажкой. Впрочем, подслушивал я больше у дверей. Если, например, я слышал, что ругали тетку те, которые не любили ее, я радовался и желал услышать еще что-нибудь, посердичее, а потом пересказывал ей. Таким образом, я был сплетником у воспитателей и у почтовых семейств... Тетка верила моим пересказываньям и старалась мстить тем, кто обижал ее сплетнями; а почтовые не догадывались, как это тетка подслушала, потому что меня все считали за такого человека, который не любит воспитателей и за хорошую подачку готов им сделать всякую пакость. Почтовые не обижались тем, что я, по своему уму, дразнил их; для них даже было удовольствием потеребить меня, обругать и обозвать; хотя я и обижался этим, но все-таки лез к ним, потому что дома мне было скучно, а они на меня никогда не жаловались. В контору я ходил чуть не каждый день, и там меня встречали со смехом. Дядя сам требовал, чтобы я бывал в конторе, для того, во-первых, чтобы я не баловался дома и не мешал тетке, и во-вторых, он знал, что я дома не учусь нисколько, и думал, что, ходя в контору, я приучусь к почтовой службе. Сначала я только мешал почтовым: лазил на столы, кривлялся, ходил по тюкам, толкал почтальонов и сортировщиков под руки, когда они писали, и лез к ним. В конторе мне больше приходилось получать побоев, чем дома, но в конторе мне было очень весело. Такой простоты между служащими и бесцеремонных обращений я впоследствии не замечал ни в одном присутственном месте; даже в этой конторе, со временем, многое изменилось от новых порядков и от людей, которые теперь там гораздо развитее, чем были в

мое время. В продолжение двух лет, как я ходил в контору, я выучил всю почтовую премудрость и даже умел класть на счетах, что было величайшей мудростью для многих почтовых. В то время почтовые умели едва-едва писать, и с них большой грамотности не требовали. Почтмейстер меня любил и называл маленьким почтальоном. Я даже имел тогда доходы от того, что записывал в книгу, вместо крестьян, денежные письма, расписывался за неграмотных и получал с каждого по три копейки серебром за одну расписку.

На двенадцатом году меня отдали опять учиться - в уездное училище. Но я три года проучился в первом классе и ничего не понял. Об умственном развитии учителя не заботились, а учили нас на зубряжку и ничего не объясняли; хорошие же ученики друг другу не показывали. Учителя считали за наслаждение драть нас. Здесь бегали от классов по крайней мере две трети учеников. Это были дети самых бедных родителей-мещан, дети чиновников и купцов. Купеческие дети, правда, не бегали, и их не наказывали, потому что отцы их дарили учителям. Я уже не бегал, потому что привык к розгам, и дома меня уже не так стесняли. Дядя радовался, что я учусь, то есть привыкаю к чистописанию, и радовался тому больше, что очень много смыслю почтовую часть.

Я никого не боялся в это время, кроме дяди и тетки, и обо всех рассуждал худо. Мне никто не нравился в губернском городе, вероятно потому, что о жителях его рассуждали мои воспитатели, родня и знакомые очень худо. Аристократию дядя ненавидел и ругал ее при встрече почти что вслух. Смотря на него, не любил аристократию и я. Дядя говорил, что в уездном суде и в прочих местах берут взятки, - этому верил и я, верил потому, что все говорили так. О своей конторе я думал, что это самое лучшее место, где только можно служить. Я видел, что все, сколько ни есть в городе людей, не могут обойтись без почты, - все ходят получать и отправлять корреспонденцию, значит, почитают почту, и я гордился почтой, дядей, почтмейстером, который ругал в глаза даже равных ему. Вся почтовая дворня жила очень просто, патриархально: никто не стеснялся ничем, сортировщики играли с почтальонами в бабки, женщины гостили друг у дружки, и хотя было развито чиновничество в высшей степени, но все как-то выходило с толком, и никто ни на кого очень не сердился, а был доволен своим положением. Я знал, что многие служащие других ведомств жили на квартирах и жаловались на начальников и на то, что им дают маленькое жалованье; я видел, что когда шел губернатор или какой-нибудь председатель, - народ сторонился, и этот же народ не одобрял их; я видел также, что все эти важные люди ездили в каретах, приказывали брать в часть пьяных, распекали на улицах бедных людей; я видел, что эти люди важничали, гордо говорили с людьми ниже их положением в обществе, и как обегали их те, которые небогато одевались. Я и товарищи мои по училищу всячески старались передразнить их; кроме этого, товарищи рассказывали про них разные анекдоты, интересовались ими каждый день. Мне досадно было, что товарищи наперерыв рассказывают городские скандалы, а мне нечего было рассказать из почтового быта. Дома я рассказывал тетке городские скандалы и происшествия так, как слышал их от товарищей, но там уже знали про эти скандалы и происшествия. Долго после этого я удивлялся тому, отчего это так все интересуются разными происшествиями, и если, например, к губернатору приехала сестра, то на другой день знает весь город об этом и везде только и разговора, что о приезде к губернатору сестры. А это очень просто: отец мальчика скажет дома о происшествии, или мальчик узнает это от такого же мальчика, игравши на улице. Придет он в училище, скажет одному, и весь класс знает, а в перемену - все училище. Это же пересказывание идет и у служащих и их жен на рынке, где всякую новость с радостью сообщают друг другу, и она долго занимает праздных людей.

В это время в городе было только одно гулянье летом - бульвар. Я часто ходил туда. Публики собиралось немного, и то только у ротонды, где играли гарнизонные солдаты. Другой музыки в нашем городе тогда еще не существовало. Потом появился плохонький оркестр, но этот оркестр играл только в благородном собрании, для аристократии... Мне часто случалось с людьми заглядывать в окна дворянского собрания, несмотря на то, что нас гнали прочь казаки палками. Мы смотрели из любопытства, как там отплясывают, и это перенимали,

стараясь так же отплясывать на улицах или где-нибудь на вечерках. Я даже заходил в самое собрание, но меня всегда гнали прочь кулаками, и мне больно было завидно, что есть счастливики, равные мне по годам, которые удостоиваются быть там, и этих счастливицков, как я, так и товарищи мои не любили до того, что не давали им прохода по городу. Попадется, например, барич - я ему язык высуну. Он обидится - я толкну его; он обзовет меня подлецом - я шапку с него сброшу и убегу. Конечно, это делалось один на один; или толпа нашего брата напала на толпу баричей - и тогда завязывалась драка, за которую нас жестоко пороли... Мы ненавидели гимназистов по-своему, те ненавидели нас, потому что мы были всегда сильнее их. Они называли нас уездниками и разными неприличными именами, мы тоже дразнили их, как умели, и между ними и нами шла непримиримая вражда. Так же точно шла вражда и между семинаристами и гимназистами, и семинаристы сильно били за городом своих противников.

Река наша немногим доставляла удовольствие, и если кто любил сидеть на берегу, так это только почтовые. Когда появился один пароход, тогда берег стали посещать любопытные, и предметом их любопытства был пароход. Когда же появилось больше пароходов, публике надоели они, и она стала наслаждаться только одним гуляньем на бульваре. Берег только тогда и наполнялся людьми, когда шел лед на реке и когда шли барки, но это был только бестолковый смотр. Немногие, впрочем, любили кататься на реке и пить чай за рекой, но никто так не пользовался этим удовольствием, как почтовые. Для нас был большой праздник, когда мы уплывали за реку и под открытым небом закусывали и пили чай. Но никто так часто не плавал за реку, как дядя Антипин. Я часто просился, чтобы он взял меня с собой. Придет он к нам и отпросит у дяди меня. Отправимся мы за реку с удилишками с вечера; поудим немного, разведем огня и сидим всю ночь у огня. Здесь я забывал все, что мучило меня в эту неделю или в этот день, и как хорошо мне казалось такое сидение у горящего хвороста, это уединение, этот простор и свежесть воздуха! Понимал ли дядя Антипин все это - не знаю, только он говорит, что здесь он как будто отдыхает. Чего-то чего мы не говорили в то время! Он очень любил меня и много рассказывал мне и своим детям хорошего, как иногда дома; я заслушивался его и забывал в это время город, который казался мне пугалом; я дышал свободно - и с какой любовью смотрел я на реку, на лес и необъятное пространство! но и тут я ничего не понимал, а только смотрел во все глаза...

Хорошее это было время. Случалось мне бывать и после за рекой, ходить в леса, но уже чувствовалось иначе...

Был у нас также и театр. Все почтовые ходили в театр даром, и дядя каждый раз, как бывал весел, брал меня с собой. Сначала мне нравилась публика, собрание народа; потом меня смешили актеры, и я так пристрастился к театру, что плакал, когда дядя не брал меня с собой или не отпускал в театр. Приходя домой, я старался говорить так же, как и актеры, но я не мог говорить так, и у меня выходило очень смешно. В училище, до классов, я разыгрывал роль какого-нибудь актера, и меня прозвали фокусником. Был у меня там один товарищ, который жил с актерами и переписывал им роли. С ним мы постоянно что-нибудь декламировали и что-нибудь разучивали по тетрадкам и без тетрадок. Как мне, так и ему хорошо казалось быть актером; мы запоминали из разных сцен в десять раз более того, что заставляли нас учить в училище. Два года он ходил в театр, знал много сцен и песен и даже раз просил дядю, чтобы он отпустил меня в актеры, но он обругал меня и не стал отпускать больше в театр.

Я ходил в училище четыре года, и в это время ровно ничего не понимал из задаваемых уроков, да и мне самому не до уроков было. В классе я сидел просто для своего удовольствия. Меня не драли, потому что я старался выслужиться перед учителями и зрителем тем, что заменял им сторожа: приносил им письма, пакеты и сдавал их корреспонденцию. С какой радостью я шел в училище тогда, когда нес какому-нибудь учителю письмо!.. Учитель мне не говорил благодарности, а зато и не спрашивал меня из уроков целую неделю, а если и спрашивал, то не оставлял без обеда. Также с неопианною радостью я смотрел на того учителя, который писал кому-нибудь письмо. Ребята рады были,

что учитель отвлечен от занятий, а я думал, что, кроме меня, отнести на почту письмо некому. Письмо написано; учитель просит бумаги, весь класс вмиг зашевелится и предлагает ему кто лист, кто пол-лист, а я предлагаю сделанный уже конверт. Запечатавши письмо, учитель отдавал его мне с десятью копейками. Я брал и говорил, что денег не надо, что я попрошу дядю. Учитель брал деньги назад. Я уходил домой или в контору, стараясь прийти в класс к чистописанию или к такому предмету, который был для меня как блины, то есть по которому меня никогда не спрашивали. Письмо я отдавал дяде, который хотя и ругал учителей, а письма все-таки отправлял. Если же учителя и отдавали мне деньги на простые письма, я все-таки деньги брал себе, и дядя отправлял письма или даром, или на свой счет. Смотритель всегда спрашивал меня о приходе почт, и если ему нужна была какая-нибудь почта, он посылал меня справиться. Один учитель постоянно называл меня почтой, и я слыл по всему училищу "почтой".

- Эй, почта! пришла такая-то почта?

- Нет еще... Сходить узнать? - говорю я и беру уже шапку.

- Ишь, шельма, рад. Я тебя еще урок спрошу, а потом на почту пошлю.

Весь класс хохочет, а я начинаю сердиться и придумываю, как бы уйти домой.

- Почта скоро будет! - говорю я.

- Рад, рад. Ну-ка, скажи урок. Не знаешь? А?

- Знаю.

- Ну-ка, иди к доске.

Пойду я к доске и хлопаю глазами.

- Ну, что? А еще почта... Хошь, выдеру? Класс хохочет, а мне досадно, и я думаю: уж сделаю же я с тобой штуку - не принесу письма и поди сам; или изорву твоё письмо, сам прочитаю, всему классу расскажу. Учитель меня не выдерет, поставит против моей фамилии палку в своем журнале, а на почту все-таки пошлет. На палки я не обращал внимания, зная то, что смотритель меня не выдерет, а если и выдерет раз в месяц, так это еще не беда. По окончании месяца смотритель драл всех ленивых, всего училища, в том числе и меня. Зная, что смотритель дает первым наказываемым много ударов, я становился в разряд самых последних, которым приходилось меньше ударов и гораздо легче, потому что сторож уставал, да и меня сторож наказывал легче всех, потому что я в этот день дарил его десятью копейками денег; а раньше приносил ему калачей, как и прочие товарищи.

Еще было другое обстоятельство, по которому учителя обращались со мной очень ласково и чего не мог сделать в училище ни один ученик. Я носил учителям газеты, журналы и картинки. Это делал я очень просто.

В контору я ходил всегда: и днем и ночью, и при почтах. Так как дома мне запрещалось читать книги, то я выдумал средство читать их в училище, а достать книги я легко мог из конторы. Газеты и журналы разносили по городу сторожа, а сторожа эти были неграмотные. Когда придет тяжелая почта, я всячески стараюсь угодить очередному сторожу чем-нибудь, - для того, чтобы он попросил меня сделать подборку журналов и газет по городу; а раньше этого я высматривал, что лучше утащить, соображал, как утащить, и между тем терся у тех сортировщиков, которые читали газеты, которые им дозволялось получателями распечатывать. Сторожа, как и почтальоны, делали подборку так, чтобы им идти по городу по порядку, из дома в дом, и назад не ворочаться из улицы в улицу.



- Ну-ко, подберем разность! - говорит мне сторож; я рад, чуть не прыгаю, а ему говорю:

- Много ли дашь?

- Сургучик дам.

- Мало!

- Свинчатку... (Я брал свинчатки, прибываемые к чемоданам; мой дядя и я употребляли их на грузила для рыболовства; а как их у меня и без даренья сторожами было много, потому что я их воровал, то я продавал их рыболовам.)

- Не хочу.

- Ну-ну, полно... мне некогда, подметать надо в конторе.

И начинаем мы подборку так:

- Кто первый? - спрашиваю я.

- Первый Елисейев, не знаешь разве?..

Я ищу Елисейева и подаю сторожу.

- Антонов теперь.

Я нахожу Антонова и подаю ему книгу Шатилова.

- Шатилов после; он в середине. Иванов теперь будет. - Я ищу Иванова, откладываю его в сторону; опять ищу и говорю сторожу, что Иванова нет.

- Ну, после найдем; давай Петрова! - И так продолжается до половины подборки. Я слегка сброшу газеты две на пол.

- Все ты, бестия, балуешь! - Сторож подбирает с полу газеты, а я тем временем и схвачу две газеты, и спрячу их под сюртук, придерживая их левой рукой незаметно.

- Ну, теперь кто? - спрашиваю я.

Если мне не удастся стянуть при подборке, я подкарауливаю, куда сторож положил сумку с газетами и книгами; потом уже после успею утащить. По этому обстоятельству сторожа почти каждый раз приходили назад с руганью:

- Черт его знает! пришел к Петрову: искали-искали ему газеты; ровно подбирали, а Петрову нету.

- Ну, потерял, выходит,- смеются почтальоны.

- Черт его знает!

Я говорю, что или были газеты, или нет. Получатель на сторожа не жаловался, и сторож только сетовал за гривну меди, которой он лишился. Если получатель не получал книги или много номеров газет, он жаловался конторе, та отписывалась куда следует, оттуда получались ответы: "Отправлены по принадлежности"; тем дело и кончалось.

Письма и казенные пакеты разбрасывались по столам небрежно. Мне нравились красивые конверты, и я крал письма и пакеты. Утащивши, я забирался в такое место, где никто не мог меня видеть, распечатывал и читал их. Как бумаги, так и письма не интересовали меня, и я

бросал их через забор или куда-нибудь в такое место, откуда их никто бы не достал. От этого чтения я узнал только форму канцелярского изложения и разные тайны людей. Приходя в класс, я давал учителям читать газеты и книги, говоря, что это дядины. Учителя рады были почитать новостей и всегда спрашивали меня:

- Пришла почта?

- Пришла.

- Есть газеты? - и проч.

Ученики были рады, что учителя занимаются чтением целые часы, и все в это время свободно шалили. Большею частью учителя уносили газеты и книги домой и мне их редко возвращали, а если и возвращали, то я дарил их своему приятелю, сидевшему со мной рядом, тому самому, с которым я представлял актеров.

Итак, житье мне было хорошее: в классе я только числился, в почте меня любил почтмейстер за то, что я уже знаю хорошо почтовую часть, и поговаривал дяде, что он меня сделает сортировщиком.

Я знал весь почтовый механизм и помогал то дяде, то какому-нибудь почтальону. В свободное время я писал крестьянские письма, и так приучил крестьян к себе, что они шли больше ко мне, чем к почтальонам. Приходит крестьянин в контору и говорит:

- Мне бы грамотку послать.

Я подхожу к нему первый и спрашиваю:

- А написана?

- Надобно написать.

- Ну, иди, я напишу.

Крестьянин с недоверием посмотрит на меня.

- А сумеешь ли, экой-то?

- Не тебе первому пишу. Много ли дашь?

- А ты что возьмешь?

- Двадцать копеек.

- Дорогонько.

Подходит почтальон и перебивает:

- Я напишу тебе.

- А ты за сколько?

- Четвертак.

Я соглашаюсь за пятнадцать и начинаю писать крестьянину письмо. Писать крестьянам письма очень трудно. Они не знают формы изложения, посылают больше поклоны, и нужно уметь написать то, что они хотят высказать, да не умеют высказаться. Я писал им всегда ихним слогом, потому что иным слогом я тогда не умел писать. Излажусь я совсем писать и

спрашиваю: кому писать?

- Да сыну родному; третий год не писывали. Нынче грамотку прислал, родной.

Я спрашиваю имя.

- Илья Якимов.

- А твоя фамилия как?

- Якимов.

- А зовут?

- Петром.

Я и пишу так: любезный сын, Илья Петрович! А почтальоны обыкновенно писали - Илья Якимыч, и на конвертах ужасно путали, отчего письма постоянно возвращались назад или пропадали на почте. После родительского благословения следовали поклоны от двадцати человек, которых непременно нужно назвать по имени и отчеству. Письмо, кажется, уже кончено, а окажется, еще надо что-то написать. Прочитаешь крестьянину письмо.

- Ладно, - говорит он.

- Еще что?

- Да что еще, ровно - будет... Надо бы написать, Сергунька Лихой в город нонись ушел, да уж плевать.

- Ничего, напишем.

- Ну, пиши еще.

- А еще что?

- Кирьян Панфилов погорел, жена ногу сломила; такая оказия вышла - ужаси! наказание божье. - И пойдет крестьянин расписывать свое горе; я хотя и позабуду все, а напишу что следует. И все, что прибавляется, читаю с началом, по несколько раз. Наконец письмо кончено совсем.

- Ну-ко, прочитай еще.

Я начинаю читать, двое или трое крестьян слушают.

"Любезный сын, Илья Петрович!

Желаю тебе с женою своею, твоею матерью, Маланьей Акудиновой, добра здоровья, хороших успехов в делах твоих и посылаем тебе наше заочное родительское благословение, навеки нерушимое, и посылаем по поклону. Молим господа бога, царя небесного, и пресвятую мать-владычицу, чтобы они спасли тебя и помиловали. Тетушка Арина Поликарповна и дядюшка Евстегней Поликарпыч кланяются тебе. Крестный батюшка, Антип Савич, и крестная твоя матушка, Акулина Марковна, желают тебе здоровья, посылают свое благословение и кланяются. У тетушки Маланьи Степановны родился сыночек Петруша. Тетушка Маланья Степановна с детками: Петрухой, Кирьяном, Ларькой и Петрушкой - кланяются... А Сергунька Лихой, что, ишь, украл лошадь у Павла Безпалова, нонись в город ушел работать, а детей оставил с матерью".

- Надо бы прибавить: Маланья-то хочет тоже в город идти, - перебивает посторонний

крестьянин.

- А зачем? - спрашивает хозяин письма.

- Уж все к одному бы.

- Ну, нешто, пиши.

Я впишу:

"Кирьян Панфилов погорел зимусь: все дотла сгорело. А жена его, слышь ты, ногу сломала. Наказанье божье. Хлеба ныне плохи, а начальство строго, все норовит стянуть с нашего брата. Кланяются тебе все знакомые и приятели. При сем посылаю тебе три рубля серебром, насилу-насилу собрали. Остаюсь здоров, отец твой Петр Якимов".

Крестьяне в восторге от этого письма и наперерыв просят меня сочинять им письма. Около меня собирается кучка. Приходят те, которым писали почтальоны.

- Написал? - спрашивают крестьянина товарищи, видя у него в руке конверт.

- Написал, да ровно негоже.

- А вот этот мастер... А тебе, братан, который год?

- Скоро четырнадцатый будет.

- Ишь ты! прозвигер какой...

- А ну-ко; прочитай, братаник.

Я прочитаю. Он просит меня написать ему письмо снова.

Написавши крестьянину письмо, я, из жалости к нему, давал ему свой сургуч и печатку даром. Я знал, что все почтовые отправляют свои письма даром и даром же отправляют письма своих знакомых и доставляют по принадлежности письма некрестьянские. Крестьянин обыкновенно отдавал письмо почтальону, потому что он боялся опустить простое письмо в ящик, думая, что оно не дойдет; а как на простых письмах адреса писались неверно, то почтальоны делали такие штуки: скажет крестьянину, что он довезет письмо сам, сделает конверт, запечатает, возьмет с него пятнадцать копеек, а лотом письмо издерет и деньги возьмет себе. А так как крестьяне большею частью думали, что простое письмо не дойдет, то они посылали их с деньгами. Денежное письмо каждому крестьянину обходилось очень дорого: за бумагу он заплатит две копейки, за сочинение письма двадцать копеек, за сургуч и печать даст сторожу шесть копеек (хотя печатка и возвращалась сторожу обратно), страховых и весовых за один лот с одним рублем четырнадцать копеек и за расписку в книге шесть копеек. Если же крестьянин посылал только десять копеек, то ему отправка письма стоила дороже посылаемой суммы!

Почтальоны ругали меня, что я отбиваю от них доход, но я не обращал на это внимания. Я хотел угодить крестьянам, потому что они мне нравились, да и дядя всегда говорил мне, что крестьяне - народ бедный и все мы едим крестьянский хлеб и живем, большею частью, на крестьянские деньги. Тетка и дядя были в восторге от того, что я получал в конторе доходы, и на мои деньги покупали мне ситцу и сластей. Кроме этой траты, у меня все-таки были деньги.

Между тем моя практика по краже корреспонденции усиливалась все больше, и больше; в конторе начали уже серьезно подумывать, что это, вероятно, проделки кого-нибудь из почтовой братии. На меня не было подозрений, тем более что я жил у дяди, человека любимого почтмейстером. Мне так понравилось красть, что я не пропускал ни одного дня и ни

одного случая, чтобы не стянуть чего-нибудь. Не ограничиваясь одними газетами, я воровал пакеты и письма, потом рвал их и бросал в чужой огород по ночам, думая, что там самое безопасное место для их вечной памяти. Все, что мне нравилось, я носил в училище и отдавал учителям, потому что дома мне нельзя было держать ничего из ворованного. Наконец, мне уже стыдно казалось воровать; я сознавал, что делаю скверно, отдавая другим, а сам для себя ничего не приобретаю; я думал, что сколько я ни пакостил прежде, все штуки мои не сходили мне даром, так и теперь могут открыть мои проделки; но я все-таки еще думал, что узнать, что я ворую, трудно, и я продолжал свое ремесло. Приходил домой я из училища с боязнью: вот узнали, что ворую. А в конторе что скажут?.. Мне хотелось остановиться и не красть больше; но когда я ничего опасного не замечал в почте, я другим утром уже тащил в класс картинку или газету. Шел я с трепетом и думал: "Господи! как бы не узнали! Уж я в последний раз это делаю..." И это я говорил не десять разов, а без счету.

Однако и этому пришел конец.

Дело было в великий пост. Учитель читал газету. В класс вошел сортировщик, враг моего дяди. Он вежливо поздоровался с учителем. Меня обдало морозом по коже: я догадался, зачем он пришел. Я готов был бежать в это время из училища и броситься в реку. Долго этот сортировщик шептался с учителем, и я ясно слышал: свою фамилию, "газеты", "книги", "пакеты". Учитель отдал ему газету; сортировщик вызвал меня из класса.

- Ты воровал газеты?

- Нет, с чего вы взяли? - не обругал его.

- А это что? - и он показал мне газету. Я запирался. Он спросил других учителей, и те сказали, что я носил много газет и книг. Пришел смотритель и начал допрос. Я долго запирался, но когда он стал пугать меня военной службой, я все сказал.

Через час от моего друга привезли целый ящик с газетами и книгами. Сортировщик привез меня с ящиком в контору; я убежал домой. Дядя в это время говел и был в церкви, тетка что-то шила. Я, как вошел, заплакал, упал перед ней на колени и ничего не мог выговорить. Тетка испугалась, задрожала.

- Что с тобой?

Я ничего не говорил.

- Выгнали тебя, что ли?

- Нет... Я газеты воровал... - И я залез на печку, думая, что меня никто там не найдет. Тетку это так поразило, что она заплакала. Я думаю, ей очень больно было в это время.

Меня позвали в контору. Я не шел; однако тетка прогнала меня с печки кочергой. В конторе все смотрели на меня с удивлением и презрением - уже совсем иначе, как смотрели вчера. Я плакал, и меня ввели в присутствие, где было очень много народу по случаю набора; на полу валялись бумаги...

- Ах, ты мошенник! В острог его, каналью, посадить! - закричал почтмейстер.

Меня повели в письмоводительскую. Там тоже были разбросаны разные бумаги, газеты и книги. Письмоводитель что-то писал, напугал меня так, что я сознался в воровстве, отвечал, сам не зная что, и подписал какую-то бумагу.

Между тем пришел в контору дядя в страшном испуге. Почтмейстер обругал его; дядя только молчал. Все дело было в том, что в огороде, куда я бросал бумаги, стоял снег; стали убирать разный хлам и нашли разные бумаги и нераспечатанные пакеты.

Тогда мне был четырнадцатый год.

На другой день меня выгнали из училища. Учителя отперлись от всего, говоря, что хотя я и носил газеты, но они думали, что это дядины, а не городские. Обо мне заговорил весь город. Дядя не выгнал меня из дома, даже не выдрал, а ходил как помешанный целую неделю. С этого дня я числился под судом, и мое дело продолжалось целые два года.

Тяжело мне было жить в эти годы. Сначала мне было стыдно выйти из дома, стыдно встретиться с кем-нибудь; все друзья мои отшатнулись от меня, и я сидел дома в углу за дверьми, читая географию или катехизис... Книги не шли на ум, а я все думал об том, что-то со мной будет. Я сознавал, что я обидел дядю, сделал ему большое зло... Я готов был бог знает что сделать для дяди, только бы он не сердился и прекратил всякое дело. Меня хуже прежнего стали ругать, корили родным отцом, грозились отдать в солдаты и требовали, чтобы я все делал с толком. В это время я был слугой дяди и тетки: носил воду, дрова и делал все, что только делает прислуга, и я был доволен этим. Много я передумал в это время; мне хотелось исправиться, но мне трудно было отстать от воровства; хотелось говорить с теткой ласково, но я не мог ей слова сказать так, потому что я был очень запуган, а язык точно прилипал во рту... Часто я плакал с горя и давал богу обеты, что пойду в монастырь... В моей голове был чистый хаос: то рисовались какие-то страшные картины, то чего-то хотелось; то мне себя было жалко, то я думал об дяде, то мне уйти куда-то хотелось, то не нравился весь город со всеми людьми. Но, как помню теперь, я ничего тогда не мог осмыслить, а только сваливал всю вину на людей.

Дядя много истратил денег по моему делу, много хлопотал, а я все сидел дома. Наконец меня послали в монастырь на три месяца. В монастыре я носил воду, дрова, пел и читал в церкви и исправлял там самые низшие должности, за что меня часто поили пивом, брагой и водкой.

Многому я насмотрелся в монастыре. Мне нравилась тамошняя жизнь, потому что многие там решительно ничего не делали. Мне весело там было; но и не нравилось то в них, что они живут по полумонашески и полусветски. Там я видел только черные рясы, а жизнь была такая же, как у светского духовенства... Сначала мне хотелось остаться там, но когда я пожил среди братии, пригляделся к ним и понял, что еще не нищий и могу сам приобретать себе кусок хлеба честным, безукоризненным трудом, я разубедился в прежних своих намерениях... Уж разве, думал я, совсем состареюсь, или мне будет лень работать в мире, - тогда изберу себе этот образ жизни. А к этому заключению я пришел уже тогда, когда кончался срок моего пребывания там, и потому, что один добрый и образованный монах жалел меня. Он говорил мне много о своем житии, в которое он попал не по своему желанию.

Не знаю, вынес ли я что-нибудь хорошего из монастыря, переделал ли он сколько-нибудь меня. Впечатления, вынесенные оттуда, остались даже до сих пор; до сих пор я не могу забыть всего того, что пришлось мне испытать там; два года меня тянуло туда, но мне как-то особенно нравилось светское общество. Я сделался задумчив; много я думал о всякой всячине, но ничего не мог придумать хорошего сам собой, ничем не мог утешить себя. Ни тетка, ни дядя, ни мои знакомые, ни учителя, ни даже законоучитель не могли мне объяснить моих вопросов. Мне говорили, что я задаю себе вопросы по глупости, и я должен верить тому, что написано и чему нас учат. А мне этого мало было; мне досадно становилось, что я не могу найти себе такого человека, с которым бы мне можно было посоветоваться и который бы научил меня уму-разуму. Я учился опять в том же училище и учился уже хорошо. Меня ставили в пример; и хотя наши учителя были люди молодые, заботящиеся о развитии мальчиков не розгами, а толком, но и они ничего мне не могли сказать, а только говорили: тебе еще много учиться надо. Но мне приближался уже девятнадцатый год; дядя хотел меня определить на службу, а об учении и думать не велел; к тому же он и не имел денег, чтобы я мог поступить в гимназию. В это время я много занимался книгами, но как помню, то были все глупые книги. Хотя же в училище и была библиотека, но смотритель не давал ученикам книг; если же я просил книг у учителей, они говорили, что у них нет для меня книг.

В это время дядя и тетка не бранили меня, потому что я всячески старался делать так, чтобы не сердить их. Мне жалко было их, потому что я много сделал им неприятностей. Наши знакомые удивлялись, что я веду себя как следует, хорошо, и ждали случая, когда я сделаю что-нибудь такое, что небу будет жарко. Я постоянно сидел дома или рыбачил с дядей и постоянно молчал, потому что говорить с дядей и теткой нечего было, да они и не любили со мной разговаривать. Все игры я называл глупостью и удивлялся над тем, почему это люди, уже женатые, делают глупости. Я начинал приглядываться ко всему: к семейной жизни людей, к обращениям и ко всему, что только попадалось на глаза... Работы в моей голове много было; я старался сам все понять, но чувствовал, что я еще больно глуп и неразвит. Досадно мне было, и думал я в это время: хорошо бы мне умереть теперь, а то для чего я буду жить? Может быть, я думал это оттого, что мне страшно опротивел город, а может быть, и оттого еще, что мне хотелось жить одному, а этого я никак не мог сделать; и не было у меня ни одного такого человека, с которым бы можно было, как говорится, душу отвести.

Дядя крепко начинал попивать водку и говорил, что он пьет от меня, с горя. Тетка очень любила дядю и всячески советовала ему не пить водку, но он кричал на нее и бил ее. Потом он пристрастился к карточной игре, просиживал ночи, проигрывал деньги. Тетка целую ночь ждала его и плакала; утром, когда приходил он злой, она капризничала, дулась целый день. Но ее капризы ни к чему не повели. Начались разные возмутительные сцены, раздоры: дядя гнал тетку, она не шла.

На девятнадцатом году я кончил курс. Я очень весел возвращался домой с акта, держа в руке аттестат. Тетка меня ждала и встретила у калитки со словами:

- Ну, что? еще на год оставили?

- Нет; вот аттестат. - Я показал ей бумагу.

- Едва-то, едва выучился. - А на глазах ее были слезы. Мне тоже хотелось плакать, и я поклонился ей в ноги.

- Покорно благодарю, маменька. Покорно благодарю за все, - сказал я.

- То-то и есть. А сколько ты нам бед-то наделал! Сколько ты нам стоишь!

- Простите!

- Благодарю отца... А я что? - И она поцеловала меня.

Дядя холодно принял мою благодарность. Прочитавши аттестат, он сказал мне:

- Вот, скот ты эдакой... Ты должен ноги мои мыть и воду пить... Сколько я истягался на тебя, а?

- Покорно благодарю, папенька.

- Ну, то-то. Все вы не чувствуете добродетелей.

- Полно... Авось, он и не забудет нас, - вступилась тетка.

Этот день я провел лучше всех моих дней в жизни. Когда я лег спать, то долго-долго думал о том, что было со мной до этого, и плохо мне как-то верилось, что я теперь уже сам имею права и сам скоро буду таким же, как и мой дядя... Я вспомнил отца и, по привычке плакать, горячо плакал, думая: "Эх, отец! Посмотрел бы ты теперь на меня... Обрадовался бы ты или нет?" И как я благодарил в душе дядю и тетку! "Как только буду я получать хорошее жалованье, непременно куплю ей на платье, а дяде на сюртук... Уж буду же я кормить и поить их, чтобы они не сердились на меня".

Я чувствовал, что теперь как будто с моих плеч свалилась какая-то тяжесть; мне казалось, что я теперь, пожалуй, равен сортировщикам и вообще служащим в губернских присутственных местах. Дядя, как я замечал, гордился мною, тетка не бранила за курение табаку, а только ворчала на то, что я курил дядины папиросы. Теперь я мог читать свободно все, что мог достать где-нибудь, и я зачитывался до того, что пропадал из дому с книгой на целые сутки; и по мере того как я читал, я находил, что я еще знаю очень мало, мне надо еще учиться, - и я стал проситься в гимназию. Дядя осмеял меня. Он был убежден, что сделал все для моего развития. Он видел, что я ростом с него; из разговоров моих замечал, что я знаю больше его; знал, что умею красиво переписать, кое-что сочинить, даже что-то такое, о чем он не имеет ни малейшего понятия, - и радовался этому. Радовался он этому потому более, что я кончил курс в уездном училище, имею права, могу служить, могу получить чин, и, стало быть, - чего же мне еще надо? Я должен благодарить его, что он на ноги меня поставил... А что мне еще нужно учиться - это он считал нелепостью. Также с ним соглашалась и жена его, моя тетка. Эта женщина была очень неразвита. Воспитывалась она очень бедно, с десяти лет торговала на рынке калачами, на семнадцатом сидела в лавочке и на восемнадцатом году вышла замуж за почтальона, которому она понравилась лицом и которого она впоследствии очень полюбила. Не обученная грамоте, путавшаяся в денежных расчетах, она хороша была для мужа тем, что умела хорошо стряпать и печь, умела шить, любила чистоту и старалась во всем угодить самому, который был для нее выше всего на свете. Ей ничего не нужно было, кроме того, чтобы муж ее был здоров. Без мужа она бы погибла, потому что на чужих людей ей стыдно было работать, а ремесла она никакого не брала. При муже она была сыта, спала вволю, водила знакомство только с теми, кто ей нравился; больше ей ничего не нужно было, даже религия для нее, после мужа, была на втором плане. Могла ли эта женщина развить мой ум? Нисколько. Она учила меня быть честным, не воровать, любить и почитать старших для того, чтобы они любили меня, а если старшие будут любить меня, я буду жить так же, как и ее муж, мой дядя. Часто я что-нибудь рассказывал ей из истории; она удивлялась, но через неделю забывала. Она даже забыла много молитв, не знала, кто раньше жил - Авраам или Христос, верила предрассудкам и снам, гадала в карты, ходила к ворожеям и т. п. Из моих рассказов она выводила то заключение, что я очень умен, и удивлялась: отчего это я много знаю, а она и дядя ничего не знают? Я говорил ей, что я еще ничего не знаю, мне надо многому учиться; она морщилась и говорила: "Будет, зачитаешься - с ума сойдешь. Еще чернокнижником сделаешься..."

Но был ли я на самом деле умен, каким считали меня дядя и тетка? По их разумению, я был умен, и мне больше образовываться нет надобности, так как они думали, что я уже все знаю, знаю больше их, - и слава богу. Не хотели они большего моего образования потому еще, чтобы я не зазнался и не отделился от них. В это время я был очень задумчив и приглядывался к жизни, к окружающим меня людям, которых сравнивал с собою, с дядей и теткой, - но выходил какой-то хаос. Но самое лучшее было для меня - это сидеть на берегу реки или на реке в лодке с удилишком, простору было много, но толку все-таки не выходило. Часто случалось, что я, сидя на реке в лодке, глядел куда-нибудь вдаль, глаза останавливались на одном месте, а в голове чувствовалась какая-то тяжесть и вертелись только слова: "Как же это?.. отчего же это?.." - и в ответ ни одного слова. Очнешься и плюнешь в воду; начнешь удить и думаешь: "Ах, если бы у меня были деньги, я бы купил книг много-много, я бы все выучил... и человека бы такого надо, который бы объяснил мне все это". В голове черт знает что; осердишься, вздохнешь и скажешь: зачем же они взяли меня к себе, измучили, сделали из меня дурака? Зачем же я не остался таким же дураком, как и почтальоны, нигде не учившиеся, которые только и думают об том, как бы им наесться, напиться, поспать да угодить начальству?.. И жил бы я, как животное, а то вот все думаешь, все хочется узнать: что, и как, и отчего, и почему происходит. Узнаю я, других буду учить, пользу какую-нибудь принесу, спасибо скажут, а что за человек, когда я ничего не знаю, когда я гожусь только в переписчики!

Многого мне хотелось, много хотелось знать, но мне мешали, меня ругали за это желание; и



чтобы я не думал много, не сидел понапрасну долго и не марал понапрасну бумагу, дядя решил определить меня на службу как можно скорее. До сих пор чиновный люд я понимал так, что они только едят и за это получают деньги и чины, но я не думал, чтобы они приносили кому-нибудь какую-нибудь пользу. Для кого же они едят-то? думал я и спрашивал дядю. Он говорил, что они - служат.

- Кому? - спрашивал я.

- Царю и отечеству.

- Что же они делают?

- Служат.

Значит, думал я, кто ест и кто носит форменную одежду, тот служит царю и отечеству. Что же они делают? Дядя не объяснял, его знакомые тоже не объясняли, и я думал: ужели у царя и отечества так много дела?.. Да, думал я, значит, они служат, и за это им дают чины такого рода, что они возвышаются во мнении других людей, гордятся этим, а раньше получения чина - хлопчут, чтобы получить этот первый чин. Дядя говорил, что получить чин не всякий может, что чиновник избавляется от телесного наказания и не платит никаких податей. "Что ж, - думал я, - поступлю и я на службу, коли уж дяде не хочется, чтобы я учился; буду и на службе учиться". "Это самое важное - служба коронная, - говорил дядя, - на эту службу не всяк может поступить, и чиновника никак нельзя сравнить с купцом, или мещанином, или солдатом, так же как нельзя сравнить почтальона с сортировщиком или почтмейстером". Дядя говорил это по своему понятию, потому что он очень рано поступил на коронную службу; служить купцу или вообще частному лицу - он считал последним делом, несмотря на то, что у этих господ служащие получали гораздо больше жалованья, чем коронные. "Там служит кто? - мещане... А мещане подати платят, рекрутов ставят; да и понравишься ты купцу - ладно, не понравишься - прогонит; а в нашей службе - шалишь: на все закон, силой не выгонишь". Но как дядя ни рассуждал, а я чувствовал, что мне не стерпеть этой тяжелой службы, что мне долго придется служить до чина, и я завидовал таким людям, которые на пятнадцатом году были уже чиновниками или на девятнадцатом году, кончивши курс в университетах, поступали столоначальниками губернских присутственных мест или становыми. "Служи, - говорил дядя, - я тридцать лет служу - и все жду чина..."

Дядя ждал первого чина, как чего-то великого, особенного, что должно точно переделать его. Он никак не думал, что бог пошлет ему эту благодать, потому что ни отец его, ни вся его родня не имели чинов. Я тоже ждал этого чина и думал: что это такое? как из нечиновного дядя превратится в чиновника? Четыре раза по каким-то причинам ему отказывали от чина, и дядя каждый раз печалился от этих отказов. Чин ему нужен был еще и потому, что ему хотелось получить должность почтмейстера, а без чина его не хотели определить, хотя он и исправлял, во время отсутствия почтмейстеров, их должности. Каждую почту он справлялся в "Сенатских ведомостях": не произведен ли он в чин, и один раз сам, своими глазами, увидел в "Сенатских ведомостях" свою фамилию и производство его в коллежские регистраторы. С неопианным восторгом дядя сообщил это тетке, которая от радости заплакала, но все еще плохо верила.

- Ты бы хорошенько посмотрел.

- Уж не беспокойся... Произведен.

- Слава тебе господи! А ты бы еще посмотрел.

По этому случаю тетка, носившая на голове косынку, купила теперь шляпку. Она была того убеждения, что шляпку следует носить только чиновникам. Особенной перемены я не заметил ни в дяде, ни в тетке: дядя только хвалился своим чиновничеством.

- Теперь меня ни одна свинья не смеет обижать, - говорил он храбро.

- Ты бы того... Да у тебя в котором месте чин-то?

- Чин в голове!

Тетка не понимала: она предполагала в чине какое-нибудь отличие.

- Все бы надо что-нибудь...

- На бумаге произвели - прямо в коллежские регистраторы... Да.

- Ты бы сюртук с позументом заказал.

- Закажу, когда буду почтмейстером... А мне, слышь, плохо верится, что я произведен в чин. Чин-чин, говорят... Они бы звезду какую-нибудь дали.

- То-то. А то чиновник, говорят, а кто тебя узнает, что ты чиновник?

- В голове, сказано, чин...

По-видимому, дядя обижался, что ему не дали такого отличия, по которому бы его все люди знали, что он чиновник. Он ходил по-прежнему в контору в сюртуке, дома в халате, но с почтальонами уже не играл в карты; по-прежнему ел, пил, спал, пел, скучал и играл со скуки на дрянной скрипке песни: "Выйду ль я на реченьку", "Возле речки, возле мосту", "Среди долины ровныя". Но играл недолго, не как прежде: его точно что-то мучило, он теперь сделался сосредоточеннее и говорил отрывочно; но прежняя простота и теперь осталась в нем, только он теперь прилепил к своей фуражке кокарду, и в этой фуражке он ходил только в церковь; в будни же ему почему-то было совестно носить ее. Тетка же стала носить черную шляпку, но эта шляпка была ей не к лицу, как мне показалось с первого раза и как показалось также почтальонкам; да и самой ей как-то неловко было идти по улице: нечиновные ее знакомки удивлялись такому наряду и спрашивали:

- Чтой-то с тобой? али муженек-то чин получил?

- Получил, слава те господи; первый чин получил.

- Слава те господи! Гля-кось... а шляпка-то ровно у те боком, матка...

Тетка досадовала на это замечание. Раньше она многим почтальонкам говорила вы, теперь ей казалось неприлично говорить так, и она говорила на ты, что очень обижало почтальонку; они говорили промеж собой: зазналась баба... не к лицу это седло напялила, - и ругали мужей за то, что они, вахлаки, не купят им шляпки, для того чтобы протереть глаза моднице, моей тетке.

Это производство случилось вскоре после того, как я кончил курс в уездном училище. По заведенному сиздавна порядку, дяде следовало сделать поздравку для почтовых, на том основании, что он получил большую радость, которую должны разделить и почтовые; но дядя не сделал поздравки, говоря напрашивающимся: эка важность, что я чин получил! а сколько я до него служил-то? посмотрите-ка вы лямку-то...

- Да ведь вы получили и должны на радостях сделать поздравку.

- За што? Без вас произвели бы - выслужил, значит.

Стал он просить губернского почтмейстера назначить его уездным почтмейстером; тот представил другого за сто рублей; открылась вакансия помощника почтмейстера в одном

богатом уездном городе; попросил он почтмейстера, тот отказал. Дядя послал прошение выше. До этого времени он, в надежде на определение, был несколько весел и любезен с теткой. Особенно он хвалил себя:

- Нат-кось, и я чиновник.

- И я чиновница, - говорила тетка.

- Конечно, ты не кухарка какая-нибудь... А все это по моей милости.

- У, ты мое золото!.. - Тетка целовала дядю; дядя тоже целовал ее, А это случалось очень редко, потому что он не любил любезничать, и я редко замечал, как дядя целует тетку.

- Да, толкуй тут, а я свой род возвеличил! - хорохорился дядя.

- Все божья воля.

- Ну уж... А я все-таки один из всего своего рода чин получил и тебя чиновницей сделал, и Петиньку чиновником сделаю... Вот каков я!

Дядю определили помощником почтмейстера туда, куда он просился. По этому случаю он сделал поздравку - обед, на который пригласил почтовую аристократию. Тетка прилежно стряпала, после стряпни нарядилась в шелковое платье, бегала, суетилась, ворчала на меня; дядя тоже суетился и просил тетку не подгадить. Мне ведено было сидеть в кухне за дверьми. Я никогда не бывал среди "аристократии", и потому мне очень хотелось узнать, что это за штуки такие. В двенадцать часов стали собираться гости, совсем трезвые, поздравляя дядю и тетку с чином и с должностью. Когда собрались все, выпили по рюмке водки и вели разговоры как-то натянуто, как будто находя, что они пришли к человеку низшего сорта. Выпили по две и по три; развязались языки, поздравляли дядю и тетку; за обедом больше молчали и отшучивались, подсмеиваясь над угловатостью дяди. Дядя и тетка усердно потчевали, говорили им любезности, и особенно усердствовали перед губернским почтмейстером, которому они льстили, поддакивали и старались ловить каждый его разговор. Дядя бывал в таких обществах, но все как-то вел себя принужденно, загибая левую руку назад, а правой почесывая правый висок; тетка не бывала в таких обществах, - робко подносила кушанья и убирала посуду. По ее неряшеству оказывались невымытые ложки, ножи, о чем ей замечали любезно:

- Пожалуйста, возьмите ложку, я не хочу больше.

- И, полноте! у меня другие есть.

Впрочем, она старалась пустыми мелочами угодить гостям: подносила другие салфетки, просила есть больше; гости подсмеивались над ней. Но больше всего гости рассуждали про меня.

- Ну, что ваше-то чадо?

- Кончил курс.

- Дело... А какой господин замечательный!.. Бедовый парень!

- Что делать, смучился...

- Я бы не стал такого держать.

- Теперь он ничего. Не знаю, куда определить бы его. Денег нет.

- Полно-ка. Поди, сундуки у тебя ломаются, - говорил почтмейстер по-дружески.

Под конец гости тоже рассуждали по-дружески и, по-видимому, вполне остались довольны поздравкой.

Часть вторая

## ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ СЛУЖАКА

В губернском городе дядя не приискал мне места и повез меня с собой в уездный город. Этот город вдвое больше и богаче губернского, поэтому дядя и рассчитывал на богатые доходы; но он не умел сойтись с почтмейстером, который забрал все доходы себе; особенно почтмейстеру не понравилось то, что ему в помощники назначен не тот, о котором он просил, а мой дядя, который хвалился честностью. На первых порах он не дал дяде казенной квартиры; потом говорил корреспондентам, что ему послали помощника невежу, не знающего свое дело. Дядя написал в губернский город, что его обижают, и вследствие этой жалобы почтмейстер очень не залюбил дядю и все-таки дал ему казенную квартиру. В губернской почтовой конторе дядю уважал почтмейстер, несмотря на то что он был сортировщиком; сюда он ехал как начальник, для отдыха, и какова была его досада, когда почтмейстер говорил всем об нем очень худо и заставлял его заниматься наравне с почтальонами и каждую неделю ездить на станции разбирать жалобы проезжающих на ямщиков и смотрителей. Дядя ничего не мог сделать с почтмейстером и был доволен только тем, что получал порядочное жалованье и занимал три комнаты и свою кухню. Так как комнаты были расположены дурно - на два семейства, то мне комнаты не полагалось, а были отведены антресоли в прихожей между двумя комнатами, которые я называл полатями; тут-то я устроил свой кабинет, гостиную и спальню, в которые надо было залезать по лестнице, стоявшей у печки. Но моя палата была тем хороша, что из гостиной дяди меня никто не мог видеть, а я все мог видеть. Теперь мне, как кончившему курс, было разрешено курить табак и читать книги. Я покупал махорку и, к радости дяди, стал выживать ею нелюбимых гостей. Книги мне светло было читать, и я доставал всякие, без разбору, у теткинских знакомых; но все эти книги были пустые, потому что у дяди не было образованных знакомых.

По почтовому ведомству дядя не хотел меня определить; притом здесь у него не было таких людей, которые приняли бы меня на службу. Один только уездный судья был ему знакомый. Этот судья и решил мое дело. Он согласился принять меня в уездный суд.

Идти в суд за чем-нибудь дядя считал за бесчестье, - так был ему солон суд. Поэтому можно судить, каково было мне закабалить себя на службу в этом месте. Поплакал я ночью, а утром почтальон привел меня в суд. Я шел туда с намерением узнать, что такое суд, изучить делопроизводство и потом перейти куда-нибудь в другое место, - со временем, когда дядя познакомится с важными должностными лицами. В суде я ничего худого по наружности не заметил: стены выштукатурены и белые, на стенах два портрета, служащие одеты прилично. Только мне не нравилось, как говорили служащие, оглядывая меня:

- Это что за птица?

- Верно, на службу... Всякую дрянь принимают.

Судья мне ничего не сказал, а призвав какого-то Загибина в сереньком пальто, велел ему взять меня к себе. Я сел смиренно, меня окружили шесть служащих, в числе которых были и моложе меня. Все они расспрашивали меня, кто я такой, где учился, что нового в губернском городе, скоро ли к ним будет губернатор?.. Стал я приглядываться к служащим. Многие из них писали очень скоро, перья сильно скрипели; многие шептались, немногие перекрикивались. Вон встал один, сидевший на конце стола, взял в губы перо и чуть не бегом пришел к шкафу, откуда вытащил какое-то дело, посмотрел в него и опять бросил в шкаф. К нему подошел высокий служащий и ударил по верхушке его головы рукой, предварительно плюнув на ладонь; какой-то служащий, смотревший на это, захихикал, а получивший любезность схватил за волосы обидчика и таким манером притянул его к полу, тот вскрикнул: "Отпусти, черт!.." Вон какой-то служащий среди тишины сказал на всю канцелярию: "Пичужкин, дай табачку..." На это ему ответили сальностью... Вон из другой комнаты выбежал в шапке и в пальто долговязый служащий; его остановил сидевший на углу: куда?.. "Хапать!" - сказал служащий в сером сюртуке, продолжая писать... Вон привели арестантов, подвели их к какому-то столоначальнику; тот с одного просит за что-то деньги... Но это не так занимало меня, как занимал сидевший против меня, за одним столом, человек лет сорока пяти в горнозаводском сюртуке. Лицо корявое, давно не бритое, глаза плутоватые; на переносье торчат очки с засаленными стеклами в медной оправе. Он то и дело выглядывал из-за очков, то на меня, то на обе стороны, и часто сморкался на пол, придерживая одну половину ноздрей и держа перо в зубах. Он, согнувши спину, наклонивши голову на левый бок и высунувши язык на левую сторону к усам, писал очень старательно косые строчки; так и казалось, что он не пишет пером, а скоблит. У дверей в прихожую какой-то служащий с листом гербовой бумаги берет от женщины, бедно одетой, медные деньги.

- Ишь, собака! Много ли дала? - спросил мой визави у этого служащего, считавшего деньги.

- Молчи, корявая рожа, - отвечал тот.

- Будь ты проклят, пес! - сказала рожа.

Вдруг подскочил к нему Загибин и ударил его по голове линейкой; он плюнул на него и попал плевком как раз в левую щеку. К нему подошли еще трое служащих и, трепля его, приговаривали: "Формочка, формочка! усь! усь!.." Он злился, плевался, ругался, отмахивался линейкой...

У меня попросили папирос, и я отправился курить. Суд помещался во втором этаже; внизу помещался земский суд. Служащие уездного и земского судов зимой и летом курили на крыльце под уездно-судейской лестницей. Сойдет человек восемь из обоих судов: кто свою курит папироску, а кто и на счет другого пробавляется; одна папироска часто курится четырьмя, и хозяину ее редко достается курок. Здесь они занимаются, между прочим, политикой, то есть говорят о новостях и сообщают друг другу разные сведения, не касающиеся службы. От судейских служащих я узнал, что в суде три столоначальника: один занимает должность надсмотрщика крепостных дел и прихода-расходчика, которого любит судья, и этот судья так доверился ему, что даже определяет и увольняет служащих по его желанию и назначает жалованье по его же совету; писцов - штатных шесть, вольнонаемных тринадцать. Во всей канцелярии только два чиновника. Всей суммы на канцелярию полагается в месяц сто пять рублей, и так как ее немного, то многие писцы получают только по три рубля, а новички по два месяца служат даром.

Второй и третий день я привыкал к служащим и уже не дичился их. До прихода секретаря служащие ничего не делали, а рассказывали разные истории, сообщали друг другу разные сведения, бранились и корили друг друга чем-нибудь, не обижаясь, впрочем, ругательствами. Приходил секретарь; ему кланялись, не вставая со стульев и табуреток, разбегались по своим местам и начинали писать. Секретарь здоровался за руку только с надсмотрщиком, на служащих он глядел гордо, вообще держал себя по-секретарски и говорил всем: "На,

перепиши!.."; "Дай мне такое-то дело". Заседателям отдавали такую же честь, как и секретарю, и они тоже здоровались только с надсмотрщиком. При них служащие уже крепко занимались, но держали себя по-прежнему вольно. Судья приходил в суд тихо, но как только служащие завидят его в прихожей, столпившиеся разбегутся на свои места, схватывают перья и делают вид, что они пишут, или показывают, что они чинят перья. Не занятые ничем служащие тоже держат в руках что-нибудь - или том свода, или какую-нибудь бумагу. В это время все затихает. Показался в канцелярии судья - загремели стулья враз, враз все встали, каждый пошевелил губами: здравствуйте, мол! Судья важно кланяется два раза на обе стороны и молча проходит в присутствие. Случалось, что судья заставлял канцелярию врасплох, как, бывало, в училище грозный смотритель или инспектор; тут служащие терялись: стоявшие не смели идти на свои места, говорившие на своих местах точно приседали еще ниже. Выходило очень смешно. В присутствии начинался говор, оживлялась и канцелярия; начинался гвалт, крик, драка. Выходит секретарь из присутствия и говорит грозно: "Тише, вы!.." Канцелярия смолкает, потом опять слышны хихиканья и гвалт. "Смирно вы, сволочь!" - кричит секретарь... Так и проходило время в суде. Каждый служащий должен был непременно прийти на службу вечером, несмотря ни на какую погоду и на то, что он жил далеко. Служащие готовы были прилежнее заниматься делом до пяти часов, только бы им не ходить по вечерам; они даже советовались об этом между собой, но предложить судье не смели, да судья, пожалуй, и не разрешил бы этого, имея в виду расход на свечи. Вечером служащие очень мало занимались делом, потому судья никогда по вечерам не бывал в суде, а заседатели бывали очень редко, и когда приходили, то разговаривали со столоначальниками о чем-нибудь. Вечером служащие рассказывали друг другу или компании, человек в пять, о своей удали: хвастались, как они разбили стекла в каком-то открытом доме и как надули такую-то девицу за доставленное такому-то судейскому ловеласу удовольствие. Меня очень злили эти разговоры, но приводилось их слушать каждый день, потому что они забавляли служащих, да и кроме этого предмета не о чем было говорить.

В первый день моей службы я переписывал копию и плохо понял ее содержание, потому что переписывал с неразборчивого почерка очень старательно, боясь пропустить какую-нибудь строчку или букву. Мне стыдно было, когда я что-нибудь приписывал лишнее и это лишнее нужно было соскабливать; я краснел, когда мой столоначальник говорил мне: "Вы соврали немножко, нужно поправить". А без ошибок я никак не мог переписать бумаги, вероятно потому, что такое занятие было для меня новостью. На другой день мне дали переписать рапорт в губернское правление. Я долго мялся, не зная, как начать; два раза прочитал черновое и ничего не понял, что надо уездному суду: чего-то он просит покорнейше и о чем-то имеет честь донести. Слово "донести" было для меня новостью. Мне показали, как нужно писать; я писал очень старательно, выводя как можно красивее буквы, и в это время думал: неужели мое занятие или моя служба в том заключается, чтобы выводить на бумаге красивые буквы? Оно в первый раз так и вышло: я протянул "р" очень далеко, поставил не русское; заседатель велел переписать мне. Все-таки я считался переписчиком лучшего сорта, и поэтому мне давали переписывать рапорты и донесения. Занятия в суде было много, так что я занимался и дома; время шло незаметно, но развития для меня все-таки не было. Зато теперь я был уже служащий человек и сам получал жалованье. А получал я уже три рубля серебром в месяц. Я понимал, что я служу в таком месте, где решаются дела о людях, и гордился этим, хотя, по-видимому, никто из канцелярских братии не гордился своей службой. Дядя интересовался моей службой. Приду я домой - он уже спит. Встанет к чаю и спрашивает:

- Ну, что, как служба?

- Ничего.

- Судья ничего?

- Ничего.

- Ты бы попросил, чтобы он прибавил ему жалованья, а то и на сапоги не достанет, - просила тетка дядю.

- Они ведь, скоты, все любят, чтобы им даром делали.

- Да и работа-то какая, - все копии.

Дядя обижался, что мне давали мало жалованья; он понимал, что я смыслю сочинять, но просить судью не хотел и думал, что я, верно, сам того заслуживаю. Я не обижался таким жалованьем, потому что служащие, поступившие раньше меня, получали по рублю и меньше, да мне и хорошо жилось у дяди. Так прошло два месяца. Наконец получился указ губернского правления о зачислении меня на службу. Дядя обрадовался этому. Нужно было принимать присягу на верность службе.

Присяжных листов на этот предмет в суде не имелось; служащие наизусть присяги не знали. Поэтому я целые два дня ходил по разным присутственным местам и только в одном нашел доброго человека, который снабдил меня присяжным листом. Пошел я в собор, стоящий против суда. Там я попросил священника привести меня к присяге, но он запросил рубль; я попросил другого, тот сказал, что ему некогда. В суде говорили, что меня можно привести в присутствии, при всех членах, и тогда я ничего не заплачу священнику. В наш суд почти каждый день ходил один священник и приводил к присяге арестантов при отобрании допросов. В этот день он был в присутствии, и я вошел туда с присяжным листом и попросил секретаря об этом предмете.

- Батюшка, вот еще этого приведите к присяге, - сказал секретарь священнику.

- Этого? Неужели такой молодой попался?

- На службу определен.

- А... да мне некогда... Ужо, в другой раз.

Отложили до другого разу. На этот раз священника просил сам судья. Мне велели стать к столу и поднять руку кверху. Судья и члены смотрели на меня. Я молчал и смотрел в окошко, дожидаясь конца присяги.

- Вслух говорите! - прикрикнул на меня судья.

Я стал повторять слова шепотом, смотря в окно, клялся, забывая все окружающее. Повторяя слова, я думал: зачем я изменю?.. я буду верно служить, не так, как они; буду служить для пользы людей... Когда вечером я лег спать, я долго думал об этой присяге: не лгал ли я? Нет, я клялся от чистого сердца, и когда я представил себе всех служащих, все ихние деяния, я ужаснулся: где же клятва? где же те желания? отчего эта присяга имеет свою силу только тогда, когда произносишь слова ее?.. неужели то же будет и со мной? От этого я перешел к тому, что я в суде служу честно, переписываю, знакомлюсь с служащими, нахожусь в их обществе - и только; я получаю жалованья три рубля, хотя и стараюсь каждую бумагу переписать на отличку, и если я грешу чем-нибудь против присяги, так разве тем, что я досажую, что мне дают немного жалованья. Отдавая дяде три рубля, я вполне обеспечен: у меня есть теплая квартира - полати; меня одевают, кормят, мне дают деньги на махорку. Больше мне ничего не нужно было. Я даже думал, что я все буду жить у дяди и буду служить честно; потом дядя похлопочет за меня, и судья сделает меня столоначальником, и я буду получать жалованья десять рублей, из которых пять я буду отдавать дяде, а половину буду держать у себя... При этом я представлял себе положение бедных служащих. Многие из них получали от пяти до семи рублей и жили с женами на квартирах; кроме этого, они пили водку в компании, ходили в разные увеселительные заведения... Я думал, что жить на таком жалованье нельзя, иметь постороннюю работу невозможно при судейских занятиях; и

сначала я обвинял служащих в пьянстве и в том, что они не умеют беречь деньги, но потом и сам рассудил, что жить честно на пятирублевом жалованье совершенно невозможно в большом городе и что нужно приобретать какие-нибудь доходы - брать взятки. Но ведь это нечестно... А жить если нечем? Голодом живи?.. А для какого черта?.. Долго я думал и, сбившись совсем с толку, заснул, но и во сне мне мерещились разные страшные хари, которые я почему-то называл судейскими.

И стал я служить в уездном суде, и прослужил уже полгода, и многому насмотрелся я там, многое я изучил там; но мне не приводилось получать доходов, потому что я только переписывал то, что мне дадут члены и мой столоначальник.

Дома я постоянно сидел на полатах-антресолях, где и читал повести или романы и разные старые газеты, какие я только доставал у теткинх знакомых. Дядя и тетка на мое чтение смотрели равнодушно, называя меня уже большим человеком, которому можно читать книги для того, чтобы не дичиться перед людьми; но мог ли я не дичиться, живя на полатах? Если к тетке или дяде приходили гости да я был в комнате, - меня гнали прочь: чего сидишь, пошел на свое место... С своей стороны, и я не желал знакомиться с гостями, от которых я, кроме хвастовства, ничего не слыхал хорошего. Ходил к дяде помощник казначея, по-видимому не глупый человек и шутник до того, что я, сидя на полатах, заслушивался его, и ежели слышал что-нибудь смешное, хохотал, зажавши рот. Раз я не утерпел и высунул с полатей голову. Чиновник рассказывал о каких-то старинных своих похождениях и о карточной игре и, взглянув на полаты, струхнул.

- Это что у тебя за зверь? - спросил он дядю. Я тотчас же спрятался и стал слушать.

- Где?

- Вон там.

- Это мой племянник.

- Как он меня испугал! Я часто вслушивался: что это такое скрипит там?..

- Это он. Я тебя, шельма! Что ты там не сидишь смиренно!..

- Я ничего, - сказал я.

- Что же ты не покажешь его мне?

- Не для чего. - И дядя принялся рассказывать с разными прикрасами историю про меня. Я злился и досадовал, что он рекомендует меня очень худо.

Этот чиновник часто ходил к дяде для того, чтобы он отправлял его письма во всякую пору, за что он угощал дядю вином. Он был богатый человек, имевший много знакомых, но сколько дядя ни просил его пристроить меня в казначейство, он говорил, что нужны для этого деньги. Казначей так же не любил его, как и дядю почтмейстер, и эти два приятеля постоянно ругали своих начальников, с тою только разницею, что дядя ругал решительно всех, а его приятель хвалился тем, что ему председатель обещал место казначея. Странно мне казалось то: почему это помощник казначея не познакомит мою тетку с своей женой и сам редко приглашает к себе дядю, хотя он и жил очень близко от почтовой конторы. Когда он приходил к нам, постоянно говорил какие-нибудь любезности тетке, которые даже ей казались приторными. Тетка, в свою очередь, справлялась у дядина приятеля о здоровье его жены и посылала ей свой поклон, хотя никогда и не видала ее. "Моя жена такая хвора, занятая детьми..." - говорил обыкновенно чиновник, а на самом деле это была тучная женщина. Жизнь этих обоих супругов, как надо полагать, была очень легкая, время шло незаметно. Он, впрочем, рассказывал, что женился на богатой, образованной воспитаннице какого-то



московского института, и жена ему каждый год исправно рождает ребенка. Поэтому дядя и прозвал жену своего приятеля утробой, а тетка - модницей, на том основании, что она, то есть жена приятеля, ничего не делает. Впоследствии приятель стал уж очень надоедать дяде своими письмами, частыми посещениями, от которых дядя выпивал две лишние рюмки водки, буянил дома, втянулся в карточную игру и всегда проигрывал деньги. Тетка стала поэтому с неудовольствием принимать дядина приятеля, говоря: вы человек богатый, вам нечего не значит проиграть десять рублей, а у нас где деньги-то?

- Ну-ну! Поди, у вас тысячи водятся. Нечего прикидываться-то, - говорил приятель.

Тетка хмурилась. Стала она бранить дядю, что как придет его приятель, водки и папирос много выходит; пол он вымарал плевками - и проч.

Сначала дяде весело было с ним, но потом и он соскучился; он был сосредоточенный человек и любил больше одиночество.

Дядя часто скучал по губернском городе, где у него было много знакомых, жилось хорошо, можно было порыбачить; а здесь народ гордый, город скверный, рыбачить далеко. В самом же деле у него в губернском городе хотя и много знакомых, но ни эти знакомые не ходили к нему в гости, ни он не ходил к ним - значит, шапочное знакомство; конечно, ему бы можно приглашать их и ходить к ним, но у него не было много денег, чтобы играть с ними в стуколку, без чего дружба в губернском городе была немислима. Здесь у него было много знакомых того времени, когда он еще был почтальоном в здешней конторе, но многие его знакомые из бедняков сделались теперь богачами, золотопромышленниками, у которых все власти были в руках и от которых эти власти поживались хорошо. Такие люди уже, конечно, за стыд считали водить прежнюю дружбу с дядей. Злился дядя на этих людей, очень злился еще потому, что он весь век мается для других, - и черт знает, для чего он мается?

- Хоть бы до пенсии, будь она проклята, дали дослужить, а то съедят, подлецы, раньше могилы... Тогда бы и я на боку лежал или пошел бы на пароход в капитаны... - И злился же дядя очень, представляя свое незавидное положение. - Скоро пятьдесят лет будет, как я живу на сем свете; сколько городов изъездил, сколько людей видал, а что нажил для себя?.. Ну-ка, вы, свиньи эдакие, ткните сундучишко-то! Вы говорите, я богат; ткните-ко, все переверочайте... Скажите, где я запрятал деньги?.. Подлецы, вот что я вам скажу! Напрасно только обижаете бедного человека. Если бы я воровал да обманывал, - стал бы я разве служить? Я бы торговлю открыл; а то как жил честью, и ничего не нажил. Умри я, жена по миру пойдет. К родне ей, что ли, идти? - свои деньги неси, такая же голь... И черт это знает, зачем человек родится? Живешь - все зависть берет, все мало, все бы хапал... А и завидно опять, что люди хорошо живут; ты ни то ни се; да они же и смеются над тобой, понукают, проклятые...

- Ну, полно, - унимает его тетка, - на бога надейся.

- Ты надейся, а я устал.

- 0-о-о-хо-хо, грех тяжкий.

- Где грех? Ну-ка, скажи, что я худое сделал? Обидел ли я кого-нибудь?

- Нет, а все же...

- Ну, то-то и есть. Ты вот молишься, а все кому-нибудь хочешь отомстить. Все на мужнину шею надеешься. Ну, что ты сделала для меня?

Тетка в слезы. Она действительно немного сделала для дяди: она была ему жена, любила его, стряпала на него, шила на него, а деньги приобретал все-таки он. На себя она ничего не

приобрела, потому что мать ее была бедная, а потом она сама не умела нажить денег.

С почтмейстером дядя не мог ладить. Главное обстоятельство, послужившее к этому, было то, что почтмейстер, во-первых, был сын председателя, во-вторых - женившийся на богатой, и в-третьих, называл дядю невежей, необразованным и свиньей. Почтмейстер, под конец, предоставил ему простую корреспонденцию, то есть письма и пакеты. Приходил почтмейстер в контору раньше дяди. Дядя приходил, подавал ему руку; почтмейстер нехотя протягивал ему свою левую руку, ядовито улыбаясь, или говорил: позднеенько пришли!

Дядя садился на свое место молча или, когда был сердит, говорил: "Что мне здесь делать? ведь я здесь вместо мебели у вас!"

Почтмейстер злился, но, как вежливый человек, говорил: "Все же вы ведь помощник, должны раньше меня приходиться".

Дядю взорвет, и он скажет: что же, по-вашему, я должен на стены смотреть да слушать, как корреспонденты будут ругаться?

- Ну, хоть бы и так! все же вы должны приходиться раньше меня.

- А отчего вы запираете печать? Чем я буду письма запечатывать?

- До меня оставьте. Я приду и выну казенную печать.

- Покорно благодарю... Да и вы не приказываете мне принимать денежные и страховые письма.

- Разумеется.

Дядя что-нибудь скажет про себя шепотом.

- Скотина! - скажет почтмейстер.

Так и сидят почтмейстер с помощником, как два медведя: сидят молча, косятся друг на друга, и каждый думает: вот с каким чертом бог сподобил меня служить!

Почтмейстера не любил весь город за то, что он, во-первых, спускался из своей квартиры вниз, в контору, поздно и не доверял помощнику принимать и выдавать корреспонденцию, для того чтобы тот не получал доходов: корреспонденты дожидались его подолгу в приемной конторы, ругая его на чем свет стоит. Когда он приходил, то отпускал таких корреспондентов, которые часто слали ему подарки, а те, которые не присылали подарков, простаивали до первого часу, когда почтмейстер уходил, - а приходил уже на другой день, а потому и случалось, что они ходили целую неделю. Писать жалобу на почтмейстера не стоило, потому что губернская контора на такие жалобы "плевать хотела". Если кто-нибудь замечал почтмейстеру: "Ведь у вас помощник есть", - он говорил: "А, это дрянь! я боюсь, вредный человек"... Корреспонденты знали дядю за честного человека, дивились слышанному и пересказывали дяде все, что слышали. Во-вторых, почтмейстер никому не отдавал мелкой сдачи; например, если нужно сдать одну или три копейки, он говорил: "А сдачи нет, после сдам"; или: "На том свете жаром рассчитаемся".

Чтобы избавиться на некоторое время от дяди, почтмейстер то и дело посылал его разбирать жалобы проезжающих на ямщиков и станционных смотрителей. Дядя не мог противиться воле почтмейстера и разъезжал почти каждую неделю. С ямщиками и смотрителями он поступал добросовестно. Жалобы писались капризными проезжающими, которые думали, что если дорога худая, так в том непременно виноваты ямщики. Но случалось обыкновенно так, что ямщики, жалея своих лошадей и зная, сколько им полагается ездить в час верст, гнали их как им вздумается, имея в виду то, что этим лошадям придется еще раза два сбегать до этой

станции; случилось, что зрители пьянствовали, били ямщиков, которые, из злобы к зрителю, старались ему чем-нибудь насолить. Дядя делал по совести, стараясь выслужиться перед губернской канцелией, но с управляющими вольных почт и зрителями он ничего не мог сделать, потому что они дарят начальство по начальству, и от этого бывало то, что вольные почты лишали дядю месячного жалованья, и ямщики все-таки не получали никакого удовлетворения; зрители отдавали все свое жалованье почтмейстеру, при жалобах дарили его; почтмейстер писал на дядю доносы, что он берет с ямщиков деньги, и потом прекращал дела по своему усмотрению. Дядя злился, называл всех подлецами и говорил: "А где же правда-то, черти вы эдакие!"

Меня почтмейстер не любил, никогда не кланялся на мои поклоны, и так как я был посторонний в канцелии человек, то он не приказывал пускать меня в канцелию. Я часто ловил рыбу в неводе и после рыболовства всегда развешивал невод посреди двора, а когда он просыхал, починивал прорванные места. Дворник почтмейстерский часто гнал меня прочь с неводом, по тому случаю, что куры почтмейстерские будто бы ломали свои лапы об ячейки невода. Я не слушал дворника. Однажды я развесил невод по забору. Часа через два после этого я сидел у окна и вдруг увидел, что дворник разрезывает невод в разных местах перочинным ножиком. За это я, как только увидел около невода любимую почтмейстерскую курицу, свернул ей голову и потом бросил в отхожее место. Это было ночью. Почтмейстер решил, что это сделал я, и при выдаче ляде жалованья удержал из него пять рублей. Дядя злился, но деньги отдал и все-таки велел мне развешивать невод. Раз я починял невод. Почтмейстер сидел у окна с женой, дядя у своего окна. Вдруг почтмейстер сказал:

- Ты, скотина, опять тут с неводом!

Я посмотрел на дядю, тот мигнул мне, как будто говоря: не показывай виду, что я здесь.

- А что? - спросил я.

- Конечно; вот пошлю дворника, будет - что; скот...

- Съем, что ли, я двор-то? Ведь он казенный.

- Тебе коли сказано - нельзя тут развешивать - и баста.

- А что такое - баста?

- А то, что если ты еще развесишь, я велю собрать и запрю в кладовую.

- Ну, и будешь ты хороший мошенник.

Я взглянул на дядю, тот показал мне кулак.

- Поговори ты еще, плут ты эдакой!

- Сам плут! Колбасы берешь, сдачи не отдаешь...

- Это что такое значит, щенок ты эдакой!

Вышел почтальон. Почтмейстер увидел его и сказал ему: сбри невод и принеси ко мне! Почтальон не знал, что делать.

- Не тронь! - заревел дядя. - Вы не смеете брать мою вещь, потому что она моя, и дарить я се вам не намерен. А если надо, то я подарю вам на саван, - отнесся он к почтмейстеру.

- У, крючоктвор! - сказал почтмейстер неизвестно кому.

Последствием этой ссоры было то, что дядю вытребовали в губернскую контору, откуда его послали исправлять должность какого-то почтмейстера, на время его отпуска. Я развешивал невод на другом дворе, с хозяевами которого тетка была знакома.

Почтмейстерша была гордая женщина, как ее называли все почтовые женщины. Она, кроме одной почтальонки, исправлявшей у нее должность горничной и поверенной ее сердечных тайн, никого из почтовых не принимала, да и посторонние бывали у нее редко, и она так была недоступна, что дядя прозвал ее китайским императором, о котором я когда-то вычитал ему из какой-то книги. Тетку она никогда не принимала; не принимала ее даже и тогда, когда тетка, в большие праздники, приходила к ней с визитом. Тетка была женщина тоже неуступчивая и, после того как ее почтмейстерша не приняла два раза, прекратила всякие путешествия в почтмейстерские обиталища. Почтмейстерша обзывала тетку разными зазорными словами, говорила всем своим знакомым, что ее помощница грубая необтесанная женщина. Если случалось почтмейстерше встретиться с теткой, она отворачивала голову в противоположную сторону, тетка смотрела в землю, как будто не примечая почтмейстерши.

В этом городе, да и во многих городах нашего православного отечества, жены любят присваивать себе какую-то мнимую власть над другими женщинами, так же как и мужчины над мужчинами. Жена чиновника, просто-напросто писца, - уже модница, считает себя дворянкой, хотя бы муж получил чин на пятидесятом году своего служебного поприща; считает за необходимость носить шляпки, брезгует нечиновницами, забывая свое прошлое, и терпеть не может, если нечиновница, жена писца, мещанина, солдата, одевается приличнее ее, носит шляпки. Жена столоначальника уже требует, чтобы жены писцов, служащих в столе ее мужа, приходили к ней с визитом, то есть поздравить с рождеством, Новым годом и пасхой. Жена начальника принимает уже жен помощников ее мужу, ведет себя с достоинством, требует от них повиновения, капризничает, заставляет ждать себя подолгу, и если женщина чем-нибудь не понравилась ей, она никогда не примет ее в свое общество, как бы та ни добивалась этого. Такова была тетка и почтмейстерша. Тетка уже зазнавалась, обижалась тем, что к ней за чем-нибудь приходили почтальонки, никогда не угощала их, не ласкала по-прежнему, говоря: они не стоят чести... Она хотела, чтобы к ней ходили с визитами, приходили прощаться в прощенный день, и если кто не делал этой чести, она высказывала какой-нибудь почтальонке свое нерасположение. Со своей стороны, почтальонки старались выслужиться перед ней, надеясь на то, что их мужьям будет небольшое облегчение, потому что тетка попросит об них дядю, а тот напишет в губернский. Сортировщицы приходили с визитами только ради формы и у тетки не заискивали ничего, зная от мужей, что дядя в конторе - ни рыба, ни мясо. Но тетка не хотела заводить знакомства с женщинами, неравными ей, то есть по должности ее мужа. Она хотела знакомиться и вести дружбу с женщинами такими, мужья которых занимали важные должности. Но при бедности дяди, при том, что она не любила гулять, ходить в театр, была неразвита, - в таком большом городе ей трудно было свести знакомство. Она бы свела знакомство с старушками и с женами другого, меньшего, городка, где по своему характеру, может быть, скоро нашла бы таких женщин.

То же почти было и с почтмейстершей. Почтмейстерша жила прежде в глухом уездном городе и была купеческой породы. Воспитанная на богатый манер, вышедши замуж и попавши в большой город, она возмечтала, что она в этом городе важная птица, тем более что почтмейстер не признавал над собою никакого начальства в этом городе и гордился тем, что он почтмейстер первой конторы. Поехала она с визитами, ее везде приняли сухо; заговорили с ней по-французски - она не знает; заговорили о каких-то глубокомысленных предметах - она сказала глупость, и ее никто не стал приглашать; да и в городе должность почтмейстера считали за пустую, бестолковую, на которую можно посадить кое-какого грамотного. Поэтому почтмейстерша должна была всегда сидеть дома. Если она являлась в клуб или в театр, нарядившись, ее осмеивали, и более всего смеялись над ее физиономией, называя ее коровой, а шляпку - коровьим седлом. Были у нее, правда, две-три постоянные

гости, но и эти были такие же "коровы", никуда не принимаемые и всеми осмеиваемые.

Отчего жена почтмейстера и ее приятельницы, жены стряпчего и казначея, не могли сойтись с обществом города, видно из того, во-первых, что их мужья занимали незначительные должности, во-вторых, они были необразованны и не умели вести себя хорошо в аристократическом обществе, и в-третьих, городское общество разделялось на три особые общества. Главное и первое общество в этом городе тогда состояло из богатых купцов, торговых людей и золотопромышленников, большей частью единоверцев и различных сектаторов, которые знали только со своим кругом, делали вечера по-своему и приглашали к себе своих людей, даже прикащиков, и гнушались чиновников, которые "ели пряники", то есть получали от купцов много денежных подарков и заводили своим женам шелковые платья. Второе общество состояло из горных инженеров и вообще горных чинов, представителем которых был главный начальник этого горного люда и всех горных заводов. Так как этот город был горный, имел свое горное воинство, главного начальника, свои управления, свою полицию и свои горные порядки, чиновники были люди бывалые и большинство их щеголяло высшим образованием, то они относились к другим чиновникам, не из их круга, с презрением... называя их не-"своими" людьми, грубыми и необразованными, и поэтому, конечно, считали неприличным знакомиться с чиновниками низшего сорта и льнули к купцам, желая выжать из них какую-нибудь пользу для себя. Остальные чиновники составляли небольшой кружок, оставленный большинством в стороне и презираемый всеми. Они, с своей стороны, презирали горных и жили здесь исключительно для службы, погрязли в службе, никак не хотели развиваться, называя себя единственными деловыми людьми. Таким образом, в этом городе до сих пор существуют две враждующие партии, из которых горная, как самая сильная, производит на остальные партии такое влияние, что тем волей-неволей нужно подчиняться горному элементу. Здесь по крайней мере три четверти населения состоит из горных людей - чиновников, мастеров и рабочих, а остальная четверть состоит из чиновников разных ведомств, из которых каждое считает себя самостоятельным и разделяется на четыре, независимые друг от друга места: суды с магистратом и думой, места финансов, почта и училища с гимназией. В этом же числе и горные учителя, купцы, мещане и праздный приезжий народ. Каждое из этих обществ делает собрания и вечера для своего общества. Так, купцы и мещане имеют свои собрания, под председательством своего туза - городского головы, свои вечера, на которые, ради только приличия, приглашают главных лиц, которые нужны очень богатому человеку, как, например, губернатор, главный начальник, генералы и прочая подначальная знать, в которую никак не входят судья или какой-нибудь почтмейстер с казначеем. Богатые люди знают тоже, кого нужно пригласить. Горное ведомство имеет свои собрания, похожие на губернскую аристократию и благородное собрание, где собираются исключительно горные - генералы, инженеры, управляющие заводами и купцы с женами и дочерьми, которые особенно славятся хорошим приданым, которое очень часто и попадает в руки инженеров. Остальные чиновники собираются кое у кого только для карт; дамы сплетничают и рассказывают городские новости, полученные или от мужей, или от детей, или от знакомых людей, а большую частью - от прислуги.

Почтмейстеру, как имеющему сношение со всеми горожанами, можно бы было попасть во все кружки городских обществ. Но он почему-то очень зазнался и никого не хотел знать; и главное, он постоянно на вечерах затевал какой-нибудь скандал. Впрочем, он иногда и делал вечера, но это были вечера глухие, осмеиваемые остальными обществами. Он ходил даром в театр и влюблялся в актрис, и этих-то актрис принимал к себе с танцмейстером, а потом сам отправлялся из театра к какой-нибудь актрисе. Таким образом, он из артистического искусства извлекал очевидную пользу и злил свою жену. Особенно хвастался он знакомством с одним сочинителем, учителем уездного училища, который сочинял эпитафии и кое-какие стихи, которые он дарил разным барышням. Этого учителя редкие принимали, потому что он был очень вспыльчив, рассказывал разные сплетни и грозился описать обидевшего его человека в толстом журнале.

Дядя не любил этого сочинителя за то, что тот, встречаясь с ним в конторе, не кланялся ему; да и дядя говорил, что этот сочинитель только людей обманывает, опивает и объедает их. Зато он полюбил другого сочинителя, какого-то господского человека, живущего в городе и промышляющего сочинением разных прошений, частью кляузных, частью довольно правдивых. Чиновники городские, особенно горные, не любили его. Этот сочинитель называл себя литератором, говоря, что он помещает разные сочинения в периодических изданиях. Поэтому его боялись в городе и ненавидели за то, что в какой-то газете был описан городской скандал и этот сочинитель разболтал своим знакомым, что скандал описал он и еще послал в редакцию что-то уморительное. Больше всех его уважал почтмейстер, говоря, что он либерал, не терпит неправды, не слушает главного начальника края, который приказывал не отсылать в редакцию статьи этого сочинителя; а более он уважал его за то, что он похвалил почтмейстера, опять в той же газете. Этот литератор часто был приглашаем дядей, который, считая его за правдивого человека, просил его отделать почтмейстера и помочь мне в чем-нибудь. В это время я сочинил одну драму из дел суда, показал ее судье, судья похвалил ее, но не решался хлопотать напечатать ее в каком-нибудь журнале. В это время я постоянно мечтал сделаться сочинителем, быть известным и таким, чтобы меня уважали и через меня дали бы хорошее место дяде. Дядя на мои сочинения смотрел как на глупость. Я часто сидел долго по ночам, и дядя злился. Придет он ко мне к столу, долго смотрит на меня, две папироски выкурит и скажет:

- Какую ты черную немочь пишешь?

- Я свое пишу.

- Кому?

- Да напечатать хочу.

- Я вот тебе напечатаю. Гаси огонь, пошел спать!

- Я деньги получу. Вон судья тоже хвалил.

Подойдет в другой раз. Опять долго стоит и скажет: смотри, парень, чтобы тебе худа не было!..

Я рассержусь, что дядя не уважает моего труда, и хочу сказать: я ведь вам не мешаю, - а скажу: я своих свеч куплю.

- Никогда не смей писать. Только бумагу мараешь. Читал бы лучше законы да из суда носил бы писать, чтобы жалованья больше дали.

А в это время я много мечтал о себе. Еще когда я учился, то писал все проповеди. Потом я понял, что я проповедями никого не удивлю, - бросил писать проповеди и стал сочинять стихи. Стихов я писал много, все большею частью оды; читал их товарищам, те говорили, что они сами лучше меня сочинят, и читали свои стихи, которые действительно казались мне лучше моих. Учителя говорили, что я не умею сочинять, но не рассказывали, как нужно писать, и смеялись. Только раз я удивил в училище одним рассказом о каком-то разбойнике, и меня тогда еще прозвали сочинителем. Но кроме этого рассказа, я ничего не мог выдумать. Когда я поступил на службу, то постоянно писал стихи. Стихи писать мне казалось легко, прозой я не умел писать. Стихи я писал большею частью про судью, заседателя и секретаря, читал их служащим, которые меня слушали. Когда я был в театре, я вздыхал, сердце щемило, и я думал: погодите - я вот свою драму скоро дам для представления, сам буду сидеть в раю: все будут хвалить драму, хлопать в ладоши, меня будут вызывать; я спрячусь... про меня все будут говорить.

И я постоянно мечтал о себе много: лежу я, - мне хочется написать хорошее; во сне я бредил

хорошими знакомствами; шел куда-нибудь - я воображал себя сочинителем; на службе ненавидел служащих и думал: погодите, будете вы бояться меня; погодите, я сам получу, со временем, должность судьи и заведу такие хорошие порядки, что все будут довольны мной! Но я был еще далеко не развит в это время: я читал только старые книги, и то повести и романы; ученого я не понимал и не хотел читать...

Дядя хотел пристроить меня куда-нибудь в домашние учителя, но, при всем его знакомстве, ему не удалось этого сделать. А хотелось ему, чтобы я был учителем для того, чтобы я получал побольше денег. Горные служащие занимались этим и получали в месяц от пяти до десяти рублей за уроки, но их считали за людей образованных и их одних только нанимали, да они и не занимались службой после обеда. Богатые купцы нанимали учителей из училищ и платили им большие деньги. Найти же мне какое-нибудь постороннее занятие, кроме службы, было довольно трудно и неудобно, потому что я одевался в худенькое пальтишко, был робок, застенчив, не умел отвечать на вопросы и не умел занять человека разговором; кроме этого, в пять часов вечера я должен был идти на службу. Дядя злился, что мне бог не дает счастья получать деньги из-за службы, и называл меня дармоедом, бумагомарателем. Но он не велел мне брать взятку в суде, получать там какие-либо доходы или заводить дружбу с служащими. Он думал, что брать взятки - значит сделаться плутом и никуда не годным человеком; если он сам получал доходы, то называл их делом безгрешным и даже злился тогда, когда какой-нибудь богатый корреспондент давал только одному почтмейстеру; а если получать доходы в суде - значит стать наравне с служащими, а служащих судейских он ненавидел.

Долго дядя ломал голову над тем, какую бы такую приискать мне работу, и ничего не придумал. Был у нас в суде служащий Прохоров. Он, несмотря на то что крепко пил водку, постоянно переписывал комедии, драмы и водевиля для ролей актерам. Из театра ему платили по три и по пяти рублей за комедию или драму, и если работа была спешная, требовалась к утру, он просиживал всю ночь. Работы у него было много, и часто он, пьяный, не мог поспеть к утру. Я подлаживался к нему, просил у него работы, и он уделял мне половину, обещаясь заплатить рубль. Я переписывал целую ночь; дядя с теткой радовались, что я тружусь. Таким манером я писал целую неделю и за работу получил только один рубль, потому что Прохоров остальных денег не заплатил. Дядя называл Прохорова подлецом, велел мне пожаловаться на него судье; но я жаловаться не стал. Дядя наконец придумал: хорошо бы мне переписывать сочинения у уважаемого им литератора, потому-де, что я сам умею сочинять и потому могу переписать без ошибок.

Этот литератор, Николаев, был как-то раз в конторе вечером; он справлялся, вышел ли такой-то журнал, в редакцию которого он послал свою статью. Дядя затащил его к себе, но предварительно велел тетке убрать как можно чище и наряднее комнату.

- Какого ты лешего зазвал опять? - спросила тетка сердито.

- Молчи; сочинителя Николаева... Он для него годится...

- Ну уж! Какой-нибудь кляузник! Наживешь ты с ним беды.

Все-таки тетка вымела комнату, убрала с дивана валявшиеся вещи, скатерти на столах приладила, цветы на окне поправила. Наконец вошел дядя с посторонним человеком. Я торчал на полатах и, притаившись, закурил трубку.

- Милости просим, милости просим, пожалуйста! - говорил дядя вошедшему с ним литератору.

- Вот где вы обитаете!

- Извините, что хата-то дыровата! - сострил дядя. - Подлец-почтмейстер вон куда меня стурит! А мне, сами знаете, не такие должно иметь комнаты.

- Скотина.

- Садитесь, пожалуйста. Извините - мебель-то у меня дрянь. Бедность, с житьем смучился.

- Да, ныне все дорого.

Дядя принес графин водки и две рюмки; тетка принесла закуски.

- Выпьемте. Извините...

- Я не пью-с... Простую я не могу.

Дядя достал из шкафа дареную ему бутылку хересу, напевая какую-то песню, вероятно от радости, что он может угостить гостя и дорогим вином. Литератор выпил рюмку хересу и похвалил вино. Я выглянул из-за полатей в комнату: что, мол, это за штука - сочинитель?

Эта штука была невысокого роста, с длинными волосами, маленьким бледным лицом, обросшим бакенбардами и бородой. На нем был скюртук, жилетка с цепочкой, вероятно, от часов. Он то и дело поправлял галстук и загибал голову кверху. Наружность его мне очень не понравилась.

- Ну, как дела ваши? - спросил его дядя.

- Да пока ничего. Вот только в прошлый раз редакция не приняла статью, назад возвратила.

- Экие скоты! -Дядя не знал еще в то время, что такое редакция.

- Впрочем, я переделал. В другую редакцию хочу... Да и эта редакция за одну статью мне и спасибо не сказала.

- А туда вы еще не посылали?

- Нет. Там лучше платят.

- Это хорошо, что платят. Они, скоты, рады на даровщинку-то жить!

- Свины... Вот я теперь написал хорошую статью о мастеровых. Я всегда с маленьких начинаю, а потом где-нибудь вклею главное начальство.

- Это хорошо. Оно и выходит незаметно.

- Они-то замечают. Потом ночи не спят, так их, знаете, и подергивает... Уж они думают, думают: какой это шельма отдела их?

Дядя захохотал.

- А если бы не наша братья, не то бы было. Поверьте, было бы хуже. Мы только и урезониваем их: свины вы эдакие, что вы делаете-то? поглядите-ка, как об вас весь свет судит!

- То-го, то-то. Ну-с?

- И в нашей братье есть тоже дряни. А кто у нас сочинениями занимается? - управляющие заводами, разные богатые люди, которые дальше носу ничего не видят.

- Подлецы!.. Пожалуйте рюмочку.

После выпивки литератор вытащил из кармана тетрадку, сшитую из почтовой бумаги. Я



видел, что на ней было что-то написано мелко, исчеркано, запачкано разными цветами - красным и зеленым.

- Вот я эту статью посылал в редакцию. Видите, как исчерчено? А тут вон целый угол оторвали, я уж сам по памяти записал... Теперь я переделал.

- А!.. Я думаю, сколько вы это писали!

- Это все в сутки.

- Ну-ка, прочитайте... А еще винца?

- Нельзя. Я прочитаю.

Литератор стал читать, но я ничего не понял: уж боль-то хитро было написано, да и сам-то он едва разобрал.

- Видите, как я мелко пишу? Просто все глаза испортил, да и в редакциях, поди, ругают меня.

- Вы бы переписать отдали.

- О! наврут; да еще перескажут, пожалуй.

Литератор принялся читать; читал долго что-то такое, чего я не мог понять, часто останавливался; дядя заглядывал в тетрадку сбоку, улыбался. В таком умилении я редко видал дядю; так он улыбался, когда клал в мешок любимую им рыбу, приговаривая: ишь, шельма!.. Когда литератор кончил, дядя сказал: так их, скотов, и надо! Литератору это понравилось, и он захохотал. Потом литератор начал выхвалять свои достоинства:

- Даром что я нигде не обучался, а тоже ставлю им шпильки. Уж больно я солон им: как, говорят, такая бестия - вон что пишет? Белятся, каналы. Вон тоже есть чиновнички-литераторы: начнут с конца, да и кончат началом; так те в хорошие дома вхожи, потому что они дворяне, а я ничто, по их мнению, выхожу. Также печатать посылают. Вон хоть, по примеру, Гаврилов в "Петербургских ведомостях" статью об улучшении нашей промышленности напечатал, да такую дрянь, что черт знает что! в свою пользу так и норовит пригнуть... Писали мне, что ему за эту статью прислали пятьдесят рублей, тогда как она и копейки не стоит, да и он, знаете, тысячами ворочает. Меня в то время не было. Приезжаю я сюда, - здесь по всему городу только и новостей, что Гаврилов статью напечатал. "Что, - говорят мне. - Гаврилов-то каков! у Гаврилова протекция есть..." Ну, вот я и накал опровержение, просто беда...

- А за это ничего? Не посадят?

- За что?.. - Ну, и послал я в "Северную пчелу"; ждал месяц, ждал два. Написали: нельзя принять. Я письмо туда, прошу: назад, черти, пришлите! Денег послал. Возвратили. Значит, брезгают, что я не чиновник.

- То-то ныне времена-то скверные; каждый так и норовит напакостить другому.

- Это так. Вот меня и подергивает обличить это.

- Ну уж, это тоже загвоздка!

- Ничего. Лишь бы только не мешали мне.

- Это главное... Ну, так у вас как теперь?.. Вы печатаете где-нибудь?

- Теперь меня три редакции приглашали печатать, самые лучшие: "Северная пчела",

"Современник" и "Отечественные записки".

- Что же там, как?

- Там можно все такое забористое писать, и платят там хорошо.

- А вы через кого деньги получаете?

- Мне высылают через одного здешнего купца... Так то неловко... Да я и посылаю больше не по почте, и своей фамилии не подписываю.

- А! боитесь, значит... Какой хитрец! Литератор захохотал.

- Ужо я принесу вам свою печатную повесть.

- Хорошо. Я никогда не читаю книжек, не охотник, а вашу прочту.

- Моя - маленькая, веселая: живот надорвете от смеху и юмору... Эффекты какие, виды; чувства сколько!..

"Ишь ты - какой храбрый! Не врешь, так правда", - подумал я. А тот то и дело хвалит себя. Дяде он, по-видимому, надоел: дядя не любил хвастливых людей, тем более таких, которые не живут в ладу с людьми. Сочинителей он считал за шарлатанов, которые на службу не ходят, а пишут про себя и куда-то посылают. Дядя решительно не понимал, за что этот литератор получает деньги. Тот говорил, что за то, что материалы доставляет. Дядя обругал редакцию и спросил: а им на что материалы?.. - Печатать, сказал тот. Дядя понял, но спросил: верно, они богаты там? Литератор растолковал ему, что редакции издают книжки на счет подписчиков и оставшуюся сумму от расходов за печатание делят с сотрудниками, и что редакторы-издатели поэтому очень богатые люди. Дядя удивился, слушал, по-видимому, литератора с удовольствием, но у него часто вырывались слова: я вас хотел... Но литератор не давал договорить дяде и ораторствовал о своих деяниях очень горячо. Наконец-таки дядя сказал:

- Я вас хотел попросить насчет моего парнишки...

- У вас разве сын есть?

- Нет, племянник, в уездном суде служит.

- Большой?

- Да вот уж двадцатый год пошел.

- Велико ли жалованье получает? Начался разговор о моей службе; оба ругали суд, судью и служащих судейских; литератор хотел видеть меня. - Он где у вас теперь?

- Не знаю. А он с большими способностями... Сам что-то пишет...

- А! что же он пишет, стихи?

- Не знаю... Петинька, что ты пишешь? - вскричал дядя.

- Ничего, - сказал я.

Лицо у меня при этих словах покраснело; я озлился на дядю, не знал, сказать ли, что я пишу; но мне очень хотелось спуститься с полатей и показать ему драму.

- Дурак! тебя спрашивают! - закричал дядя.

- Да я так, ничего... Я драму пишу.

- О, нынче трудно писать драмы. Мечта одна... Я послал одну драму, пропала в редакции.

- Вот я хотел попросить вас, чтобы вы прочитали его сочинение, а потом похлопотали бы о деньгах.

- Хорошо, если время будет, похлопочу. Знаете, тут работы много.

По уходе этого литератора дядя обругал его плутом. "Всю бутылку, шельма, выпил, а как заикнулся за парня заступиться - и домой пошел. Сквалыга, право..." Через неделю этот литератор был у дяди и просил его отправить страховое письмо в какую-то редакцию даром, потому-де, что у него теперь нет ни копейки денег, и помимо почтмейстера, потому что почтмейстер, пожалуй, прочитает его статью и разболтает в городе. Дядя сказал, что он письмо, пожалуй, отправит, но у него, впрочем, нет казенной печати, да он и боится отправить письмо, чтобы не нажить себе беды. Литератор остался недоволен этим. Через несколько времени кто-то сказал дяде, что литератор Николаев собирается описать в газете почтмейстера, помощника с племянником за их-де тупоумие. Дядя озлился, обругал Николаева, меня проклял и обозвал как-то всякие книжки и всех сочинителей. С этих пор на мои занятия он со злостью смотрел; один раз даже оплеуху мне засветил, и я писал секретно, когда не было дома дяди и тетки, или лежа с карандашом на полатах.

Развитие мое плохо подвигалось. В суде я только переписывал очень скоро бессмысленные бумаги, в которых решительно не понимал: к чему они и для чего такая формальность бестолковая? Дела мне не давали читать, потому что меня считали недостойным этой чести; читал я законы, но их мудрое наречие плохо понимал: читаешь какую-нибудь статью, не понимаешь; а если и поймешь, так забудешь, где ее найти, - так они отбивают охоту от чтения. Но все-таки я понял в суде очень много, даже больше, чем другие служащие, прослужившие в суде два года. Я, например, научился составлять бумаги: отношения, указы, донесения и рапорты, и форма их изложения казалась мне бестолковой и пустою; по одной бумаге я следил за ходом дела; в копиях с решений я видел целое короткое дело и представлял себе положение обвиняемых людей в таком виде, что они не виноваты. Зная очень хорошо тех людей, которые сочиняли проекты решений, тех людей, с которыми я служил, - я думал, что они пишут решения не так, как должно: я сравнивал их с хвастливым литератором Николаевым, который, по моим понятиям, писал не дело, а фантазии. Но сочинять решения мне казалось довольно трудным и тяжелым делом: я думал, что я в решении имею дело с людьми; содержание дела казалось мне неполным; мне хотелось самому поговорить с обвиняемым: как было дело? - а там уже писать проект решения, не опираясь на показания и разные бумаги, составляющие дело. Кроме этого, мне страшно показалось решать участь человека. Я понимал теперь, что я служу в таком месте, где решаются участи людей, откуда человек выходит запятанный позором на всю жизнь или теряет все свое достояние. Вот я и стал читать бумаги и дела, заглядывал в разные места, читал различные копии, реестры и все то, что попадалось мне на глаза. Когда я был дежурным, то рылся везде, где не было заперто, и узнал очень многое. Страшная небрежность и хаос так-таки и царили тогда в нашем суде: бумаги и дела разбросаны так, что их или не скоро отыщешь, или совсем не найдешь; многие дела вовсе не запирались, а оставлялись служащими на окнах, когда они уходили домой; все делалось так, как кому захочется, делалось машинно, принужденно; так и казалось, что служащие или вовсе не знают своего дела, или пишут для денег целый месяц, целый год и целую жизнь, - пишут и сидят в суде для должностей, или для чинов, или для пенсии, или только из-за куска хлеба... От них я ничего не мог приобрести хорошего. Соберутся они рано, поздороваются, обругают друг друга, расскажут какую-нибудь новость или что-нибудь интересное для них, например похождение кого-нибудь в открытые дома, как кто-нибудь словил на бульваре девицу и обманул ее, или как кто-нибудь из них у какой-то Машки разбил стекла в окне, выказывая свою удальи храбрость. Не участвующие в этих разговорах, люди большею частью чиновные

и заваленные работой, перемолвливались о том, сколько-то им дадут за этот месяц жалованья, когда-то будет ревизор и губернатор, - и утешались тем, что судья и заседатели получили выговор. Члены рассуждали только о картах и о городских скандалах да кричали на служащих. Служащие ничего не читали хорошего, да им и некогда, и нечего было читать, разве кроме сказок и смешного. В суде хотя и получались губернские и сенатские ведомости, но там читались только распоряжения правительства и начальства, указы, производства и объявления.

Через год меня сделали столоначальником горнозаводского стола, и я крепко принялся за изучение дел. Дел было немного, и я один справлялся со всем, что у меня было в шкафу. Больше меня занимало сначала то, что у меня в кармане ключ от шкафа, а в этом шкафе дела, которые вверены мне для хранения, и в этих делах заключаются судьбы, счастье и горе нескольких людей. Дела в моем столе были: о краже горнозаводского имущества, казенного и частного, о спорных лесных дачах, о лесных порубках, об уничтожении межевых знаков- и спорные дела об имениях мастеровых. Многие из этих дел лежали по пяти и десяти лет, немногие решались скоро или отсылались к заводским исправникам для переисследования. Я тотчас принялся за лежалые дела, стал читать их и решительно не понимал: кто прав, кто виноват и что делать? По своему соображению я писал доклады, нес дела в присутствие, член откладывал читать до другого разу. Мои доклады оказались никуда не годными; член сказал мне, что я не знаю дела и должен спрашивать своего предместника; тот мне и указывал, что делать, или говорил: право, не знаю; спросите горного члена. - Так как я был один в столе, то мне, при всем моем старании, никак не удавалось читать большие дела, да если я и читал, так не знал, что тут нужно делать. Справившись в законе, найдешь что-то подходящее к этому делу; прочитаешь в законе дальше - другие статьи другое говорят... и думаешь, хлопаешь глазами; думаешь: как? что же делать-то? Так долго сидишь, в жар тебя бросит, отупеешь и бросишь дело в шкаф... А черт с ним! скажешь: в другой раз хорошенько займусь... Через месяц займешься, и опять то же самое. И досадно мне, что у меня лежат такие старые и тяжелые дела, досадно, что я понять содержание их не могу, зачем пишут так непонятно, досадно, что другие столоначальники в один день прочитают дело и на другой напишут по этому делу проект решения.

Пробовал и я писать проекты решений, но сочинял их целую неделю, потому что раза по три переписывал; но горный член не читал моих решений, а сочинял сам. Поэтому, чтобы приохотить его к занятию и сбыть скорее дела, я усердно принялся писать доклады, и хотя горный член переделывал их, дела в моем шкафу долго не залеживались. За это мне давали жалованья сначала семь рублей, а потом, когда я стал ссориться с судьей, мне опять стали давать по три рубля в месяц.

В два года я узнал все, что делалось в суде, и мне ужасно тяжело было служить там.

А служил я вот с какими людьми.

Судья и заседатели получали небольшое жалованье, но все-таки им на это жалованье было можно жить, если не допускать излишней роскоши. Зато им платили от заводов, потому что тогда была крепостная зависимость. В судьи попадал человек, состоявший в родне с правителем губернаторской канцелярии, или советник губернского правления, а заседатели - столоначальники губернского правления, люди, мало знающие судебную часть. Наш судья был человек богатый, родня правителю канцелярии губернаторской, нигде не кончивший курса, человек добрый, но приехавший в суд учиться судопроизводству и для того, чтобы считаться в уезде важным лицом. Приходил он на службу в первом часу и выходил в четвертом. По приходе начинал разговаривать с заседателями о карточной игре и о прочем постороннем - целый час; потом начинал распечатывать пакеты. Он читал только предписания и указы начальства и на всех бумагах писал число и месяц. Это продолжалось с час. Остальное время он употреблял на подписывание журналов, бумаг и протоколов, прошений и вставок в решения - определения времени наказания или числа розог и плетей.

Число и время в решениях он выставлял по своему желанию; против поля в журнале обыкновенно выставлялось заседателем число: от тридцати до сорока ударов или от трех месяцев до шести месяцев, - а судья писал: "тридцатью пятью ударами", "на четыре месяца". Случалось, что ему приходила охота заняться делом, но доклады ему было лень читать, потому что их было много. Полагаясь вполне на членов и секретаря, он спрашивал их:

- О чем этот доклад?

Член объяснял ему.

- Ну-с, как по-вашему?

- Да ничего. Надо журнал писать.

- Как вы находите?

- Надо в Сибирь сослать.

- Ну уж, эта Сибирь! Наполним же мы ее всякими людьми. Экие каналы, не живется им на одном месте.

- Мы свое дело сделали, а там палата пусть по-своему решает.

- То-то и есть.

- Вот я не знаю только, как им не стыдно писать нам выговоры? - говорит другой заседатель.

- Что эти выговоры! Стоит обращать внимание. Знаем мы, сколько они сами-то получают выговоров...

До положения служащих судья не касался и считал их за чернорабочих людей. Он только определял и увольнял их и знал только столоначальников. Впрочем, он давал на канцелярию, к Новому году и к пасхе, по десяти рублей из своих денег.

Заседателей было в то время два. Один - по уголовной части, которого называли "Сальной бочкой", а другой - по гражданской, и этого звали "Пряничным петушком". "Сальная бочка" и "Пряничный петушок" знали свое дело и извлекали из него каждый пользу для себя, но если случалось, что одному заседателю нельзя быть в суде, то другой занимал его должность и в его должности ничего не смыслил. Оба заседателя где-то учились, но нигде не кончили курса, а на службу поступили копиистами, чуть ли не с пятнадцатилетнего возраста. Каждому было по пятидесяти лет, и каждый не один раз был под судом, из-под которого каждый ловко вывернулся. Прежде они писали решения и различные доклады; когда же сделались заседателями, то восчувствовали барство, обленились и всю обязанность сочинения докладов и решений предоставили столоначальникам или простым канцелярским служащим, которые исключительно занимались только решением дела и получали за это жалованье больше столоначальников. Большую часть времени заседатели проводили в разговоре с судьей, секретарем, поверенными от заводов, с знакомыми просителями и столоначальниками. К своему делу они относились как-то шутя, подписывали бумаги, распекали столоначальников, писали в настольных журналах резолюции и при этом говорили, что они - "о-ох, как ужасно смучились!.." Когда им бывало скучно дома, они приходили в суд по вечерам, не для занятий по делам, а для препровождения времени разговорами с секретарем, надсмотрщиком и столоначальниками, - и при этом делали вид, что они это делают как будто из милости к маленьким людям. Вечером они только мешали занятиям; впрочем, служащие рады были услышать какую-нибудь сплетню от заседателя и потом перетолковать ее по-своему. Когда убрали "Сальную бочку", в суд приехал Добрынин, имевший чин коллежского регистратора и тридцать три года. Он приходился судье родней по

жене и дела решительно не смыслил. Помню я, когда ему положили в первый раз кучу дел без докладов и настольный реестр со входящими бумагами, и он, желая показаться знающим дело, долго перебирал дела; но и эта переборка ему стала не под силу. Он призвал столоначальника.

- А зачем вы дела ко мне положили?

- Для того, чтобы вы прочитали.

- А вы на что столоначальником сделаны?

- У меня очень много дел.

- А сколько?

- Да дел восемьдесят нерешенных.

- Так вы и напишите по всем доклады; тогда и дела подайте.

- Времени нет.

- А я судье пожалуюсь.

Судья сказал Добрынину, что столоначальник прав, потому что, по закону, доклады должен писать сам член. После этого Добрынин ласково просил столоначальника избавить его от сочинений и обиделся, что столоначальник не уносит книгу и бумагу.

- Зачем они лежат тут?

- Вы резолюции должны писать.

- Какие?

- А что сделать с бумагой. Которую нужно приобщить к делу; так вы пишете: "приобщить к делу". Или: "строго подтвердить", или: "уведомить"... Одним словом, что следует делать по такому-то делу, по какой-нибудь бумаге.

Заседатель, не понимая сущности дела, против одних бумаг писал в журнале: приобщить к делу; против других: строго подтвердить и по справке уведомить... Столоначальник показал всем служащим книгу, и служащие прозвали его "Пробкой", а дела по его части начал читать и поправлять секретарь.

Были у нас еще и другие заседатели, которые едва умели читать и подписывать свою фамилию; бывали и такие, которые, по безграмотству, прикладывали свои печати. Они были в земском суде в то время, когда они нужны были для подписывания бумаг, когда не доставало полного числа членов или в земском, или в уездном судах. Больше они не нужны были ни на какие потребности, и хотя они носили форму, но служащие земского суда часто посылали их за водкой и колотили пьяных. Эти заседатели - люди из крестьян и выбираются в заседатели сельским обществом. В селах они действительно полезнее всяких ученых заседателей, потому что при словесном разбирательстве они обсудят дело вернее всякого судейского заседателя, не зная грамоты. Но в суды их приглашают не для словесных разбирательств, а для подписывания бумаг, в которых они ничего не смыслят и которые, во многих случаях, решают судьбу человека. Такой заседатель знает, что он "подписывает в судах бумаги, а суд он понимает так, что там решаются дела такие, какие редки или вовсе не бывают на словесном разбирательстве. Он боится подписывать, опасаясь за ответственность, чувствует, что это дело не его, но его силой заставляют, не дают жалованья, а отказаться он не может, потому что таков существующий закон и таковы

понятия действительных членов суда, которые на свою должность смотрят, как на препровождение времени и на поживу.

Нужно, например, одного из заседателей, и идет из уездного суда в земский писец. Там спрашивает он сторожа:

- Где заседатель?

- Сельский?

- Ну...

- На рынок ушел.

- Отыщи его, пожалуйста.

Сторож отыщет сельского заседателя где-нибудь в кабаке и приведет в уездный суд.

- Эй ты, заседатель! Поди подписывай, справь службу.

- Не могу, братцы, хмелен больно.

- Ну-ну!

И его за волосы притащат в присутствие уездного суда, а дорогой надают подзатыльников, издеваясь над его мужичеством.

- Пиши, морда!.. Пиши свою тамгу! - И заседателя щелкают по лбу.

- Што писать?

- У, дубина! Пиши фамилию; вот здесь... - И столоничальник колотит заседателя в спину.

- А тут што?

- Ну, еще спрашивать вздумал! Как скажу судье, он те задаст.

И подписывает заседатель бумаги или прикладывает к ним печать... Если же он слишком пьян, то у него берут его печать и без его ведома прикладывают ее. Если трезвый и толковый заседатель захочет читать бумаги, ему не дают читать, говоря: не твое дело; коли старшие подписали, подписывай!

- А если я под суд попаду?

- Эка важность.

И подписывает заседатель, сам не зная, что заключается в бумаге...

Не лучше этих заседателей были также бургомистр и ратманы.

Бургомистр и ратманы вообще выбирались из богатых купцов, и эти господа, попавши каким-нибудь образом на такие почетные должности, старались долго удержаться на них. Они шли на них ради формы и почета и имели большое влияние на податное сословие города. Они редко занимались делами даже по магистрату, предоставляя всякие разбирательства и решения магистратскому секретарю, который мог сделать с своими начальниками все, что хотел, и получал за свои труды от них большое жалованье. Купец занят весь день коммерческими делами и всякому говорил, что он не знает, зачем это его выбрали еще на должность в магистрат, как будто не знают, что у него и без магистрата

много дел. "Уж этот магистрат... Я бы с радостью уступил свое место другому..." - говорил обыкновенно этот должностной человек и бранил судью и прочих за то, что они не дают ему покою с своими бумажонками, до которых ему, коммерческому человеку, нет дела. Но посторонние знали, что этот купец лицемерит. Всякий видел, что бургомистр и ратманы загибали голову перед своими товарищами, говорили свысока, жили дружно с теми, от кого зависели выборы и утверждение их в должностях, и очень любили свою форму. В магистрат они ходили редко, а в уездный суд их едва могли призвать, потому что они отговаривались недосугом. Так как некоторые дела не терпят отлагательств, то секретарь посылал им доклад и разные бумаги на дом. Если есть у купца охота читать, он станет читать дело, но он наперед знает, что в этом деле он ничего не поймет, и если секретарь что говорит, стало быть, это так и должно, на то он и секретарь, на то и выписан из губернского города. Купец даже обидится, если секретарь попросит прочитать его дело.

- Поди-ка, мне есть время читать тут всякую дрянь... Стану я заниматься!.. У меня и без эвтих делов своего дела много, поважнее этого... Ты, значит, секретарь - и должен все знать, за то ты и деньги получаешь.

Поэтому бургомистр и ратманы только носили звание, одевались в форму, ездили в магистрат для приличия и занимались только подписыванием бумаг. Когда назначалось в уездном суде общее присутствие уездного суда с магистратом, то магистратских членов приглашали в суд. В это присутствие являлся обыкновенно один ратман и бургомистр, а другой ратман подписывал журнал или протокол да дому. Придут купцы в длинных мундирах, сядут на назначенные места - и начнется разговор о торговле или о городских новостях. Станет секретарь читать доклад, купцы слушают и хлопают глазами.

- А ну, как по-вашему? - спросит судья.

- Что?

- А решение?

- Да ничего, ровно ладно. Мы ведь эвто дело не знаем... Уж вы и решайте.

Случалось, что они и спорили, но едва ли это дело было по ним, потому что, во-первых, они не знали сущности дела, а во-вторых, если и знали, то соблюдали свой интерес; в этом случае они горячо заступались за своего брата, ругая судью и всех судейских членов, на что судья им замечал о приличиях и намекал на их должности. Купцы утихали, молчали и стояли на своем, что знать не хотят суд, что они выше суда и никаких делов после этого не хотят иметь с судом. Их просили написать свое мнение тут же, но они уезжали домой, а потом просили секретарей сочинить протест. А так как по делам их всегда просили и они ненавидели вообще приказных, то часто случалось, что они не соглашались с мнением суда, а потом, когда судья пугал их опозовкой, они дарили его. Все-таки купцы были очень осторожны: они никогда не подписывались раньше подписи судейских членов. Они говорили, что - "они от короны служат, они и должны за все отвечать. Подпиши они, и мы подпишем. А кто их знает, что они там наплели! Уж если под суд идти, так всем". Купцы, конечно, не боялись идти под суд, потому что они были богатые, и они всегда радовались, если чиновников отдавали под суд.

Итак, значит, секретарь главное лицо в суде. Вся вина обыкновенно, падает на него: отдадут членов под суд - отдадут и его, да еще члены обругают его; сделают им выговор - сделают и секретарю выговор, да еще члены обругают его, что - "это мы по вашей милости влопались". Секретарь должен прочитать каждое дело, прочитать каждый доклад и каждую бумагу и знать наизусть все, что есть в суде: знать все содержание всех дел и все судейские порядки. Понятно, каков должен быть секретарь!.. Наш секретарь прошел огонь и воду: он служил сначала в канцелярии губернатора, потом в губернском правлении, оттуда его за пьянство



сослали в какой-то суд, он опять поехал а губернское правление, оттуда в наш суд. В этом суде он служил столоначальником во всех столах, несколько раз был сменяем с должностей за пьянство, и только после женитьбы на экономке богатой купчихи попал в секретари. Ему очень трудно было следить за всеми порядками в суде; у него очень много было работы, а так как в нашем суде было очень много всяких дел, то он, запутавшись в них, заставлял столоначальников сочинять решения, доклады и занимался только чтением дел, поправками докладов и подписанием бумаг. Зато если ему случалось сочинять, то все его сочинения утверждались без всяких помарок. Судья недаром назвал его своею правою рукою, а секретарь называл себя хозяином суда.

Всех служащих в суде было пятнадцать человек. Из них штатных было девять человек, в том числе столоначальники с надсмотрщиком, а остальные служащие - по найму. Из дворян был только один судья, а из канцелярской братии только два чиновника. Каждому из канцелярских были распределены занятия: одни сочиняли решения и больше ничем не занимались, другие - докладными, третьи - журналами, четвертые - протоколами; переписки вообще было немного. Здесь два разряда работы: одна машинная, другая умственная. К машинной причисляются: переписка бумаг, записка их в книги и написание журналов. Умственная работа - это было сочинение бумаг и все то, что требовало соображений. Сидит, например, столоначальник или писец, сочиняет отношение, и долго-долго он мучится; уж, кажется, привык к сочинениям отношений, но все как-то ему хочется сочинить лучше, для того, чтобы сбыть бумагу поскорее или чтобы она понравилась члену. Впрочем, людям, привычным к канцелярскому строчению, подобная работа ничего не значила: они в один присест написывали по решению и были довольны тем, что отдали его в присутствие, а там цензируют кто хочешь, потому что как ни сочиняй, как ни старайся отличиться, - а все без помарок не обойдется.

Большая половина служащих в суде были дети бедных канцеляристов и чиновников. Родители их хотя и тяготились своей службой, обижались на начальство, но гражданскую службу считали самою лучшею из всех служб; они знали, что они неспособны к другому труду, а труд переписывать бумаги считали самым легким, самым приличным и благородным. Быть чиновником для них много значило, потому что чиновника уважают, чиновнику почет, чиновник имеет свои права и принадлежит к личному дворянству, - стало быть, разница между мужиком безграмотным и чиновником большая. Они знали, что сыздревле составляют особый класс людей, который не платит податей и не несет никаких повинностей, и все назначение их жизни заключается в том, чтобы служить, как и отцы их служили.

Сын канцеляриста или чиновника, кончивши курс в уездном училище или вовсе нигде не кончивши курса, по примеру своего родителя или родственника, поступает очень рано на службу в присутственное место. Он с раннего возраста жил в кругу приказных этого же сорта и постоянно гордился званием своего отца, потому что ему с детства твердили: чиновник - дворянин, что его растят для того только, чтобы сделать из него чиновника. Выучившись мало-мальски писать, он поступает на службу, сначала для того, чтобы набить руку, и целые года занимается одною только перепискою. Через два месяца ему дают жалованье, и в это время он, постоянно находясь в обществе служащих, понемногу усваивает себе их приемы и манеры. До этого времени он развивался в своем доме и в кругу товарищей - и, конечно, развился плохо; теперь он развивается под влиянием приказной братии. От них он ничего не может услышать хорошего или нового; ума его они никак не разовьют обыкновенными и пустыми разговорами. Ему дают жалованья три или шесть рублей; он старается заниматься прилежнее, усидчивее, для того, что-бы ему прибавили жалованья. Он пишет целый день, строчка за строчкой, выводя как можно красивее буквы, и все его внимание сосредоточено в этих буквах да в слухе, который наполняется словами служащих. Он не видит никакой дельной мысли в работе, после нее он чувствует усталость, ест, мало говорит и все свободное время проводит или во сне, или в невинных забавах, как, например, карточной

игре на шереметьев счет и т. п. Чем больше и больше он переписывает, тем больше у него отпадает охота к мышлению; он уже переписывает бессознательно, делает ошибки, скоблит бумагу - и еще больше тупеет. В это время он рад, если ему придется быть в кругу своих товарищей для того, чтобы отвести душу, то есть выпить водки. Это желание до того усиливается, что он уже чувствует потребность пить водку и под конец становится пьяницей, мучителем своей семьи, мужеский пол которой непременно метит в чиновники.

Такое жалованье, как три или шесть рублей, очень недостаточно для человека, которому нужно платить за квартиру, есть и одеваться, а достать больше негде, потому что ему частной работой заниматься некогда. Вот он и выискивает случай к приобретению денег. Он видит, что старые служащие пишут прошения, копии, разные бумаги посторонним в суде - и получают за это деньги; ему становится завидно, и он всячески старается подделаться и угодить старым служащим и столоничальнику. Наконец представляется ему случай написать прошение, но он не знает, как написать его, точно так же как не умел бы сам сочинить себе прошение об определении его на службу. Он крадет у товарищей черновые по этому предмету, списывает эти черновые, а с них уже сочиняет прошения и другие бумаги. Написавши сто подобных бумаг, он уже механически запоминает форму их изложения и продолжает, секретно или явно, сочинять по старой форме, - получает за это деньги, хотя и небольшие, но все же могущие обеспечить его на месяц. Это называется доходом, а как доходов этих для него все-таки мало, то у него является желание еще больше нажить их, и он пускается на хитрости, на то, что называется в народе живодерством. Здесь развитие его ума останавливается на том, как бы кого надуть ловчее.

Если служащий - человек глупый и поступил в суд для того, чтобы выучиться делопроизводству, то и тут его развитие останавливается только на канцелярской форме изложения. Правда, он умеет хорошо и скоро сочинять по-канцелярски, но в обществе других людей он кажется несколько не развитым. Он только и знает свой суд, свое присутственное место, свои занятия, свои выгоды, а об остальном не заботится, да ему и некогда думать. Теперь вся его цель жизни состоит в том, чтобы ему жилось хорошо, копились деньги да чтобы не уйти под суд и благополучно дослужить до пенсии, а если есть дети, то определить и их на службу и быть на старости лет их нахлебником.

Таковы были служащие, и влияние таких людей только мешало моему развитию. Старшие канцеляристы наживали деньги бессовестным манером, ни за что, пьянствовали, дрались; молодые люди брали у них уроки и вели развратную жизнь. Об умственном развитии никто не заботился, я никто даже не интересовался получаемыми в суде губернскими ведомостями. Правда, были из них исключения, но те недолго служили в суде; служили же в суде безвыходно те, которые нигде не могли найти себе службы лучше суда.

Наши столоничальники были люди давнослужащие и дело свое знали хорошо. Все они хотя и были под судом, но держались своих мест очень долго. Не будь этих столоничальников, суд бы плохо исполнял свои обязанности. Это знали члены и поэтому снисходили всем их слабостям. Вся забота столоничальников состояла в том, чтобы как можно скорее сбить с рук дела. А дела сбывались с рук в то время у нас очень просто.

Столоничальник уголовного стола сам решения не писал, потому что у него и без этого было много дел, а для решения дела существовали в суде два вольнонаемных писца, которые хорошо знали законы. Эти господа не обучались в училищах, а приобрели знание судопроизводства в суде же и в палате; по их понятиям, выходило так: что уголовное дело значит то, что в нем есть преступники и их нужно наказать; разбирать, прав или виноват подсудимый, было не их дело, да им и не время было, потому что их торопили. К этому еще надо прибавить и то, что члены часто им приказывали, что сделать по такому-то делу.

- Ты по такому-то делу пишешь решение?

- Нет.

- Ну, так напиши, чтоб его освободить. Я бы сам написал решение, да некогда.

И пишет так составитель решений, как ему приказывают и как он найдет лучше по своему рассуждению. Они приговаривали почти всегда к наказаниям; а один из них такой был охотник приговаривать к наказаниям, что, взявши еще дело и не читавши, с наслаждением говорил вслух про себя:

- Я тебя, шельма. Плетищами тебя, каналью, отдую!..

Этим сочинителям, как видно, ничего не стоило сочинить проект по заведенному образцу, как попало. Они знали, что они служат по вольной плате, им доверяют сочинять решения, потому, вероятно, что во всем суде не нашлось, кроме их, такого умника. Поэтому они не обижались тем, если членам не нравилось какое-нибудь решение.

- Вы не так написали.

- А как? Не то нужно?

- Неловко как-то... Припомните, по какому делу нам выговор дали? Вы бы с тем делом сообразили...

- Так вы поправьте!

- Уж поправьте, пожалуйста, вы...

Сочинитель держит дело неделю, месяц; его спрашивают; он говорит: дел текущих много! - и проект переправляется секретарем. Эти господа знали, что они ни за изложение, ни за приговор не отвечают, и, стало быть, вся беда сваливается на членов.

Как члены, так и наши сочинители хорошо знали по опыту, что как суд ни сочини решение, его все-таки нужно послать в палату, и палата все-таки переделает его. Поэтому-то, сочинивши решение как попало, суд представлял его в палату и тем слагал с себя ответственность за решение... Лишь бы только дело было сбыто: меньше ответственности. "А там палата, как хочет, решай", - говорили судейские члены.

Надо заметить, что уголовные дела всегда решались скорее гражданских, если только они не возвращались обратно для переследования. Гражданские дела лежали нерешенными целые года. Отговорки были уважительные: по такому-то делу дождалось объяснение, по такому-то - такое-то сведение и т. д.

Но не одни столоначальники судейские занимались сочинениями объяснений. Было еще два разряда юристов: отставные судейские чиновники, большею частью подсудимые, которые обирали и истцов, и ответчиков и за решение дела не отвечали, сваливая вину на суд. Их уважали бедные люди, и слава об них шла по всему уезду. Впрочем, их недолюбливали члены суда, потому что они им иногда очень вредили. Другие - были поверенные. Они назначались от каждого заводоуправления, и обязанностей у них было много. Они закупали для завода все необходимое, сбывали заводское, хлопотали по заводским делам, жили барами и приобретали большие деньги. Они жили в городе, как важные должностные лица, имели свою канцелярию и жили в ладу со всеми должностными лицами города, которые к праздникам и по делам получали от заводоуправлений и от богатых людей, через поверенных, большие деньги. Заводские поверенные происходили от заводских людей. Выучившись грамоте, они служили в конторе или у поверенного, который, для приучения их к делу, посылал их заниматься в суд. В суде рады были, что поверенный посылает для занятий мальчика, которому суд ничего не платит. Мальчик учится производству, списывает секретно

для своего поверенного копии с решений и выведывает для него все, что нужно.

Прозанимается писец поверенного в суде года три, годов пять - и узнает, что такое суд, как в нем решаются дела, как и с кем нужно обращаться. Он становится ловким плутом и умеет хорошо провести своего поверенного и влезть в доверенность его. Годов десять ему приходится заниматься то у поверенного, то в суде, то в заводской конторе, и он усваивает себе очень много. Его сделают в заводской конторе столоначальником, и он, умея подделаться к поверенному, женившись на его сестре или дочери или дочери заводского прикащика, имеет уже разные поручения от управляющего заводом. Поручения эти состоят больше по хозяйственной части. По смерти поверенного, или по наговору этого пройдохи, его назначают в город поверенным. В городе он живет в господском доме, занимая целый этаж. Ему доверяются все хлопоты по заводским делам, он закупает, отправляет, продает вещи, рассчитывает людей и заменяет собой управляющего. Его боятся свои крепостные люди, от него получают должностные лица подарки от заводоуправления за разные дела; он, обманывая управляющего, наживает большие деньги, и так как он имеет дела со всеми чинами, то делает им вечера и играет с ними в карты. Но главная суть его деятельности состоит в том, чтобы хлопотать по делам заводоуправления, находящимся в суде, палате, горном правлении и даже в сенате. Дел таких не мало. Например, владелец отнимает у другого владельца крестьян, землю; заводоуправление взывает с своего крепостного человека что-нибудь; заводоуправление ищет с кого-нибудь постороннего деньги; владельцы впадают в долги - и проч. Кроме этих дел, поверенный берется хлопотать в суде за богатых людей его завода, за большие деньги. Заворуется прикащик очень много и сваливает вину на рабочего... нужно ему рабочего сослать в Сибирь. Дело заводится так, как хочется прикащику, потому что исправник не сменяет прикащика на рабочего, поверенный замасливает судейских членов, палатских членов... и дело решается в пользу богатых людей.

Поверенные часто просили меня списать копии с дел, но я не писал; просили решить какое-нибудь дело, я писал доклад о возвращении дела для переследования, горный член переделывал доклад в таком же роде. Поверенные жаловались при мне судье, что я прошу с них деньги; судья за это оставлял меня дежурить в суде. Раз даже один поверенный поднял скандал на весь суд. Приходит ко мне и спрашивает:

- Ну, что?

- Что угодно?

- А копия?

- Какая?

- Как какая?.. Я вам за такую-то копию пять рублей заплатил.

Я озлился, покраснел, хотел обругать его, задрожал. Собралось много служащих.

- Что, стыдно!

- Врете вы! Никаких я денег от вас не получал, да и не возьму, потому...

- Молчи, скверный мальчишка! Едва поступил, да и взятки берет.

Служащие захохотали. Я хотел бросить в поверенного книгу, но не мог почему-то сделать этого.

- Бесстыдник!

- Пошел вон, дрянь ты эдакая! - сказал я диким голосом.

Меня позвали к судье.

- Я вас под суд отдам! - закричал он.

Я молчал и ничего не мог сказать в это время, потому что я зол был так, как никогда...

- Я вас выгоню!

- Он врет, ваше высокоблагородие... Я не такой, как все служащие...

- Молчать! - зашипел судья.

За меня заступился горный член.

- Зачем же вы хотите губить молодого человека? Ведь я больше вас знаю его.

- Ничего вы не знаете!

Судья замолчал, сурово взглянул на меня и стал подписывать бумаги. Я стоял. Горный член махнул мне рукой, я взглянул на судью. "Пошел!" - сказал судья. Я ушел из присутствия, меня ошкаркали служащие и прозвали взяточником. С этих пор мне убавляли каждый месяц жалованье по полтине, и служащие корили меня тем, что я получаю большие доходы. Я жаловался дяде; тот ругался: ругал судью, весь суд, ругал меня, что я непочтителен к старшим.

- Как же я стану говорить с ними, коли они подлецы? - говорил я ему, а злился и думал сказать совсем не то.

- Хорошо, что я тебя кормлю. А если бы меня не было?..

- Вы сами велели служить честно, не связываться с служащими. Да я и сам знаю...

- Все-таки нужно обходительнее быть с ними. Да будь оно проклято и житье-то с ворами!

Дядя досадовал, что он определил меня в суд. Большое ему спасибо за то, что он не велел мне брать доходы, спасибо за то, что он берег меня: "Смотри, Петинька, будь осторожен. Попадешь под суд - съедят тебя. Подлый это народ!"

Но помочь мне дядя ничем не мог. Он только злился, проклинал все и всех, но я замечал, что он начинал любить меня. А это я слышал из его разговоров с теткой.

- Что я буду с Петинькой делать? Парень - просто беда... Он меня с ума сводит. В кого он уродился? Мать дура, отец пьяница...

- В тебя.

- Не знаю. Надо бы его перевести отсюда.

- Женить его надо.

- Лучше-то не выдумала! На Ленке женить его я не хочу, потому что ветреная... А надо его пристроить...

- Подумай...

Дядя писал своим знакомым в губернский город, чтобы меня перевели в губернское правление, но те ничего ему не отвечали. Дядя злился и не знал, что делать. "Терпи, - говорил он мне, - ведь я ничего, терпел тридцать лет!"

"Вольно же было тебе терпеть", - думал я. И думал я о том, как бы мне устроить свою жизнь: служить здесь не хочется, не могу я здесь служить. Простору хочется; дядя и тетка надоели мне. Ведь я служащий, могу и без них служить и жить сам собой. Не все же эти поганые три рубля будут давать мне. Ну, коли не примут в присутственные места, в прикащики к купцам пойду. День ото дня меня манила в губернский еще и другая цель, которая мучила меня каждый вечер и каждую ночь. Я тогда любил и хотел жениться...

Меня занимал в то время вопрос: что за штука такая любовь, о которой так много пишется в книгах? - но долго я не мог разъяснить себе этой штуки.

Женатые почтальоны, сортировщики, служащие в суде били своих жен, когда захочется, и били уже не так, как мы, бывши ребятами, дрались, - тогда они были детьми, теперь они хозяйки, каждой хочется похвастаться своей жизнью, показать себя: "На, мол, чуча, гляди, как я живу! А ты что? Ты бездомница... Вышла замуж на посрамление людям..." Мужчинам надоело любезничать, надоело потому, что жене хочется, чтобы ей муж угождал с утра до вечера, ни в чем не прекословил ей, - а этому ее научила мать. Жена большею частью проводит время дома, и как бы ни тяжела была ее работа, она все-таки найдет себе утешение в чем-нибудь: вот я это сделаю ему, дьяволу, понравится... вот я ребятишкам пряник дам, кричать перестанут... Высказывается ли в этом рабстве любовь к мужчине - понять трудно, потому что они, каждый из них, понимают любовь по-своему... Но мне привелось долго жить среди разных семейств, приводилось каждый день видеть и слышать разные сцены, часто возмутительные и дикие, и я в это время плохо понимал, что такое любовь, а в романах и повестях я видел только одни имена, жизнь же была совсем неподходящая к нашей жизни. - Побой для уездно-городской женщины почти ничего не значат, в привычку вошли, и притом она сама умеет обляять мужа и отомстить ему; у этой женщины есть дети; она всю надежду полагает только на мужа. Но муж совсем не таков. Он только в первое время женитьбы старается угодить жене, старается удовлетворить всем ее капризам. Но угождение и капризы жены ему надоедают; он сначала мучится сам с собой, ему хочется выбиться из такого положения, чтобы на него никто не сетовал. Чем дольше он ворочает мозгами, тем больше приходит к тому убеждению, что жена попалась ему не такая, какая ему нужна, что он ошибся в выборе жены, - по скорости, потому что его завлекли в этот омут, и жена ему не пара. Начинает он ругаться с нею - ничего не помогает; жена отругивается, в слезы пускается. Он злится, она капризничает, он терпит; терпит дома капризы жены, на службе его обижают; дома нет покоя от жены и от ребят, дома заботы много, - он становится работником на свою семью, проклинает свою жизнь и кается, что сглупил... "То ли дело холостая жизнь!" - говорит он. И он прав по-своему.

Бывало так, что мужчина женился на работающей женщине, сам ничего не делал, пропивал женины деньги, жил на содержании жены и в то же время бил ее. Если он замечал, что жена завела любовника, он жаловался на любовника полиции. И я мало-помалу приходил к тому заключению, что муж и жена должны быть непременно пара, то есть должны не мешать друг другу и не одолжаться друг у друга. Мне хотелось устроить жизнь свободную, тихую, хотелось найти такого друга, который бы не был мне в тягость, и которому бы я не был в тягость, чтобы нам обоим не обижаться друг на друга. Но как устроить это? Где найти такую женщину? В нашем городе положительно не было таких в грамотном классе, - на неграмотной я не хотел жениться, потому что безграмотную нужно учить, а я чувствовал себя неспособным к обучению... Больше всего я пугался детей, и дойдя до этого вопроса, ругал сам себя: что я за дурак? На кой мне леший жениться-то!.. Но жениться все-таки хотелось, хотелось друга иметь такого, которому бы можно было все говорить и с которым бы легче было узнавать то, чего я не знал в то время. Выбор мой остановился на одной девушке, Елене, которая была моложе меня двумя годами и жила в губернском городе.

К нам часто приезжали из сел родственники-священники с женами и дочерьми, и мне часто случалось бывать у них в гостях. Мне не нравилось в их дочерях то, что они умели только стряпать, вышивать и знали одно хозяйственное ремесло, но, кроме книг духовного

содержания, ничего не читали, и поэтому годились в жены только забитым семинаристам; такая жена в городе ленилась бы, спала, толстела и жила бы свиньей, предоставляя детям развиваться, как развивается капуста. Оно и лучше. Если такая женщина будет заниматься образованием детей да будет говорить им нелепости, то она и из детей сделает уродов, как я и знал несколько подобных примеров. Поэтому, когда мне приводилось бывать в обществе дочерей наших священников, любивших игру в жмурки, прятки и в карты, я находил их пустыми и злился над тем, что они весь день хохочут и в этом находят большое удовольствие. Дома я даже не вспоминал об них и злился, если тетка хвалила какую-нибудь девицу или говорила дяде: вот бы Петиньку женить на этой! Я злился, когда тетка бранила мою знакомую, Елену, в глаза и корила ее тем, что она много трескает (ест).

Отец Елены умер за месяц до ее рождения. Мать ее, майорша, была бедная женщина и жила на квартире у дяди, когда мне было еще шесть лет. С теткой она скоро: подружилась, и тетка очень полюбила ее за то, что она хотя и не прочь была выпить, но не была сплетница. Детей своих, маленькую Лену и сына восьми лет, она очень била и трезвая, и пьяная. Когда Лене был четвертый год, мать никуда не выпускала ее из комнаты; зато, если тетка брала меня к ней в гости, Лена бесцеремонно подходила ко мне с своей куклой. Я, однако, дичился ее, и если она хотела играть со мной, я уходил куда-нибудь подальше, за что мне тетка давала затрещину. Тетка часто ходила к ней в гости и брала меня с собой, неизвестно для чего. Там я сидел в углу, а Лена играла с куклами, и если нас заставляли играть вместе, то мы играли как-то принужденно и вяло.

Жизнь Елены была нерадостная: мать ее пьянствовала, часто голодала или оставляла голодную дочь, никуда не выпускала ее и, когда уходила со двора, запирала ее на замок. Поэтому тетка иногда, во время пьянства матери, брала Лену к себе в гости, и она жила у нас иной раз по целой неделе. В это время она больше шила или вязала и играла в карты с теткой, которая за это ее очень любила. Мне досадно было, что тетка говорит ласково с Леной, а ко мне обращается с криком, и я злился, замечая смех Лены в то время, когда я проливал воду или когда меня били; мне завидно было, что тетка садит Лену с собой рядом, а меня гонит в кухню; Лена пересказывала тетке мои пакости, и много было таких предметов, за которые я ее ненавидел до того, что не хотел говорить с ней. Со временем тетка заставляла меня что-нибудь читать вслух, а я не хотел читать при Лене. Тетка вскрикнет, бывало:

- Тебе говорят?

- Пусть она читает.

- А вот как встану - покажу тебе... грубиян ты эдакой!..

А все же я читать не стану; тетка ее заставит читать. Случалось, Лена просила у меня книжек, я не давал.

- Где я возьму книг-то?

- Да в ящике.

- Ройся сама!

- У!! Скажу тетеньке-то.

- Смей! Только скажи, так я тебе обрежу косы-то!

Но на семнадцатом году мне было скучно без нее. Нет ее два дня, думаешь: скоро ли она придет? Сердился на то, зачем я такой злой и упрямый, а она такая ласковая. Ведь ее мать бьет, ведь и она живет не лучше моего? Буду же и я ласкаться к ней. Но как только придет она - я и сробею. Часто она приходила со слезами на глазах и долго плакала, говоря, что ей

житья нет от матери, что мать день ото дня хуже становится. Мне жалко было ее, хотелось говорить с ней, угодить ей, но ничего этого я не мог сделать. Часто в квартире оставалось только двое нас: она в комнате что-нибудь шьет молча, а я в кухне сижу за столом. Хочется мне говорить с ней, подойду к ней робко, в землю смотрю, потом взгляну на нее свысока, - она шьет и на меня не глядит. Подойду я к окну и думаю: что бы сказать такое хорошее, как в книжках пишут? Долго думаю, да так ничего и не скажу. Так и шло время без толку: ни я, ни она не скажем друг другу любезностей. А между тем дядя с теткой и ее мать называли меня женихом, а ее невестой. Сидим мы все за столом обедаем. Родные наши выпивши, и мы, жених и невеста, - выпивши; в большие праздники тетка потчевала меня и ее хересом или другим каким-нибудь вином.

- Вот как Петинька выучится да поступит на службу, я Лену отдам за него замуж, - говорит, бывало, майорша.

- Пусть выучится. Лена девушка славная, и он еще не стоит ее, - говорит дядя.

- Ну, полно! На службу поступит - человек будет.

Я злился на эти слова. Лене как будто неприятно было слушать их.

- Ты, Лена, пойдешь за Петиньку?

- Не знаю.

- Кто же знает? Васька, скажи, пойдет ли Лена замуж? - скажет ее мать, обращаясь к верному коту. Лена покраснеет.

- Я не хочу жениться, - скажу я вдруг, краснея от злости.

- Ну, я тебе дам, каналья! - закричит дядя.

После этих разговоров я все-таки думал: а хорошо бы жениться на Елене; она читать, писать, шить и стряпать умеет. И приятно мне было думать о ней.

Теперь же, когда я обдумал, какую мне нужно жену, и пригляделся к разным семействам, я возымел сильное желание жениться на Елене, думая, что я тогда буду жить своим хозяйством. Вот какой я устроил план в своей голове. - Если мне в губернском городе на первый раз будут давать жалованья шесть рублей, я найму в самой дальней части города комнатку с кухней, за что я заплачу рубль, много - полтора рубля. Дрова я буду ловить летом на реке, и их хватит на всю зиму и на все лето. Мы будем жить только вдвоем. Она будет шить у стола, а я буду сидеть против нее, буду ей читать вслух, и будем мы жить дружно, будем беречь деньги. Я буду служить, она будет шить, продавать шитье, и деньги мы будем делить поровну. Но я останавливался на том: что сделать с деньгами, если у нее будет больше шести рублей? Если она будет употреблять их на сласти, вроде орехов, будет стряпать лишнее и будет угощать меня, откуда я возьму деньги на то, чтобы давать ей половину на удовольствие? Я сильно мечтал о том, что у меня написаны уже два сочинения и я их пошлю в Петербург, там их напечатают в журнале и дадут мне деньги, - деньги большие.

Через год мне опротивело жить в уездном городе. Хотя он и хорош на вид, хотя и есть в нем бульвар и разные увеселения, но все как-то натянуто, как-то невесело, все как будто пахнет какою-то казенщиной. Объявит начальство, что завтра, в праздник, на бульваре будет музыка, объявит какой-нибудь приезжий акробат, что тогда-то он будет показывать свои фокусы, будет ходить по канату, объявят, что тогда-то будет какой-нибудь заезжий немец шар пускать, - ждут горожане с радостью этих праздников. Наступит день, сходят к обедне, наедятся - и спать хочется, и на бульвар тянет; принарядятся и пойдут на бульвар. И идут горожане на бульвар толпами - себя показать, людей поглядеть, музыку послушать, новости



узнать, подивиться чудесам заезжего фокусника даром... Перехаживают они с места на место, орехи грызут, пряники едят да кислыми щами запивают. Ждут они долго фокусника, - иной домой успеет сходить, выпить рюмочки две водки, - скучают, ругают фокусника, что он долго заставляет ждать их. Каждому хочется развлечься... Вот в одном месте в орлянку играют двое мещан, их обступили любопытных сто человек; тысяча глазеет на музыкантов.

Забравшиеся сюда рано устали давно от бестолковой ходьбы и кучками присели на траву под деревья; в отдалении сидят влюбленные пары. Чем дольше тянется время, тем больше появляется в публике пьяных, которые кричат, ругаются, как только могут, и начинают безобразничать на потеху молодежи мужского пола. Вся эта пестрая, разнообразная масса народа, выфранченная по последней моде и по состоянию, причесанная, напoмаженная, волнуется, беснуется; кричит и модничает, скучает и не знает, что ей делать. "Черти!" - слышится в одном месте... "Спать бы лучше, а то что?" - говорят в другом; а в третьем уже спят пьяные люди в халатах и сюртуках. Даже и в аристократическом кружке видна зевота. Эта аристократия пришла сюда себя показать да людей удивить своими нарядами и фразами; она задирает головы кверху или сидит отдельно от простого народа. Одни только молодые приказные снуют во все классы народа, нахально подмигивают девицам, толкают их под бока и приглашают гулять: "Позвольте, барышня, быть вашим кавалером". Сначала я очень был сердит на мужчин за то, что они нахальничают, но потом убедился, что есть девицы такого рода, которые сами приглашают мужчин. Как-то я сидел на скамейке в отдалении и наблюдал за народом. Я курил папироску. Вдруг подходит ко мне дама лет двадцати, одетая в сереньком бурнусе с кринолином; на голове платок. Она бесцеремонно села на скамейку рядом со мной. Минут пять она и я молчали. Мне ужасно неловко было сидеть, - я хотел уйти, но и посидеть хотелось; к тому же соседка красивая; я достал еще папироску.

- Господин, извините, если я побеспокою... - начала она.

- А что?

- Нет ли у вас папироски?

Я достал другую папироску и молча дал ей.

- Мирси!.. Адалжите закурить!

Я дал ей свою папироску. Соседка опять сказала: мирси! У меня тряслись руки, и я сердился на себя, что я ничего не умею сказать ей. Мы сидели молча.

- Вы служащий? - спросила она меня.

- Да.

- А где вы служите?

- В уездном суде... А вы кто?

- Я... я замужем.

- Что же он, гуляет?

- Он изменил мне: он гуляет с девой какой-то.

- А вам досадно, поди?

- Ах, так досадно, что я ему, подлецу, отомстить хочу.

- А если он любит вас?

- Ох, нет!

- Может быть, вы ему изменили наперед!..

- Какой вы глупый! Вам говорят, что он изменил мне, изменил... понимаете? Мы опять замолчали.

- Что же вы молчите? Какой вы скучный! Я ничего не сказал ей, потому что мне не понравилась ее навязчивость.

- Пойдемте гулять.

- Не хочется.

- Отчего?

- Не люблю я гулять вдвоем.

- А если вы женитесь?

- Ну, тогда, может быть, и пойду, а теперь не хочу.

- Фи, какой вы невежа!.. Так не хотите?

- Чего, в лес, что ли, с тобой идти? - сказал я, сам не понимая, что я сказал. Я заметил, что соседка моя покраснела, встала и ушла прочь.

Молодые приказные рассказывали мне, что есть такие женщины, которые сами приглашают мужчин к себе в квартиры, и что мне стоило только пригласить мою соседку пройтись с ней, она завлекла бы меня непременно.

Начинается представление; вся гуляющая масса спешит занять места получше; все теснятся к загородке, где показывают свои фокусы заезжие акробаты; ребята и рабочие раздвигают доски и, таким образом, смотрят одним глазом даром; их разгоняет полиция палками; они начинают драку с полицией, и не попавшие в загородку зрители потешаются. Если фокусы представляются открыто, то из многих мест слышатся восклицания: "Эк, его, лешова, угораздило! Ах, черт экой! Сломать бы ему хоть ногу, псу! А чтоб ему сквозь землю провалиться!" Но эти восклицания произносятся с улыбками, в восторге, от удовольствия и с удивлением к ловкости и искусству фокусников. По окончании представления все только и толкуют, что о фокусниках, и рассказывают домашним с разными прикрасами о виденном. - Есть в городе пруд, но на нем не плавают; только в царские табельные праздники начальство устраивает на нем фейерверки, и тогда берег посещают горожане. Театр посещают мало, потому что богатые люди не очень большие охотники до театра, бедным же людям ходить часто - денег нет; зато все вообще любопытные любят комедии смешного содержания, драмы с убийствами, пожарами, провалами и громами; любят также и черта, и большая часть публики считает актеров за фокусников и не понимает ничего серьезного. "Ты нам смешное показывай, - говорит публика, - чтобы весело было; а то все говорит что-то мудреное. Плевать нам на то, что он оделся не по-нашему. Ты русское кажи, да чтобы не скучно было. У нас и дома скучно. Мы недаром деньги-то заплатили". И показывали актеры смешное. Аристократия ходила в театр также ради препровождения времени, и хотя знала, что актеры врут и плохо играют, но поощряла актрис, вызывала и дарила им венки. Других развлечений в городе не было, и люди от скуки играли в карты дома или у знакомых на шереметьев счет, и эти карты так вошли в моду, что редкий горожанин в свободное время не устраивал вечера с карточной игрой.

Дядя и тетка очень скучали. Знакомых у них было немного, и эти знакомые, большею частью, старались поживиться от них чем-нибудь. Ходила к нам одна девица, годов двадцати шести. Она жила у сестры, которая была замужем и имела шестерых детей. Жили они бедно, а этой девице хотелось хорошо поесть, ничего не делать и выйти замуж за чиновника. Тетка любила ее за то, что она помогала ей шить, пела песни и что-нибудь рассказывала; дядя любил ее по-своему, и когда не было дома тетки, он начинал с ней любезничать. Я не любил эту девицу: во-первых, она очень хвасталась своим лицом, хотя и не была красива; во-вторых, ужасно лгала и сплетничала, и в-третьих, соглашалась с дядей, что я невежа. Когда она приходила к нам, я прятался в свою каморку, за обедом ничего не говорил, дремал; когда играли в карты, и в карточной игре участия не принимал. Случалось, я оставался дома один с нею. Я сидел в своей каморке, она в комнате. Однажды она изволила встать на лестницу и заглянула в мою каморку; я лежал.

- Вот вы где обитаете! - сказала она и захохотала.
- А что? Мне здесь хорошо.
- Отчего же вы в комнате не сидите?
- Здесь лучше: я здесь никому не мешаю.
- Пойдемте играть в карты, мне страх как скучно!
- Не хочется. Я книгу читаю.
- Успеете еще начитаться.
- Право, не хочется. Да я и не люблю карт: в карты дураки играют.
- Эдак, по-вашему выходит, что я дура, и тетушка ваша дура?
- Надо делом каким-нибудь заниматься, тогда не будет скучно.
- Врете вы все: надо в обществе бывать!..

Я ничего не сказал; она ушла и с тех пор не надоедала мне. Ходила к нам еще девица, лет девятнадцати, звали ее Татьяной. Эта была посмазливее. Сестра ее почти каждый день ходила в женский монастырь, где она сообщала городские новости и откуда разносила по городу разные монастырские секреты. Таня тоже ходила в монастырь и с виду казалась монахиней; она выбирала себе богатого жениха, но несколько женихов надули ее, рассчитывая сами на ее приданое, которое состояло в одном доме. Тетка поговаривала дяде женить меня на этой девице, и дядя соглашался с нею, сообразив то, что с отцом ее он в очень коротких отношениях и что, женившись на Тане, я получу дом и, стало быть, проживу отдельно от них. Это говорилось секретно, и я страшно боялся, чтобы меня не окрутили, потому что если дядя что захочет, то и будет. Таня чаще стала ходить к нам, меня заставляли играть с ней в карты; я, как нарочно, говорил невпопад, грубо и больше молчал. Таня через сестру передала тетке, что я какой-то необразованный и что она раньше года не даст согласия на брак со мной. Тетка каждый день стала читать мне наставления, что я говорить не умею, со всеми грублю, хожу как-то по-бурлацки, и прозвала меня вахлаком.

Ходили к дяде межевщик Коровин и его жена с двумя сыновьями, служащими по горному ведомству. Ходили и тетка с дядей к ним. Сам Коровин любил выпить, так что если его не угостит кто-нибудь водкой, к тому он и ходить не станет. Это семейство, когда бывало у нас, играло с нами в карты, и мы тоже играли с ними. Все они мне нравились, потому что были люди простые, не сплетничали и со мной были ласковы. Старший сын их обучал в городе детей, был образованнее отца и постоянно читал новые книги. С ними я сошелся скоро, и мы

в течение одного месяца сделались друзьями. Он в литературе знал толк, и по его совету я стал читать ученые сочинения. Журналы он мне давал всегда, и мы подолгу рассуждали о прочитанном. Теперь я читал новые журналы, читал хорошие сочинения, читал критики и ученые статьи. Книг было много, в голове много было работы, но все-таки разъяснить множество вопросов я не мог при всем моем старании, - ни с помощью книг, ни с моим другом. Я писал в это время много, приятель мой хвалил меня и однажды отдал одно сочинение доморощенному литератору, который сочинял разные драмы и комедии, никогда не печатавшиеся. Мне привелось видеть этого литератора в квартире Коровина. Это был человек лет двадцати четырех, одетый франтовски, живой господин. Он очень хвалился своими способностями, ругал редакции, что они не хотят печатать сочинений такого известного человека, как он, очень смешно копировал чиновников и разных начальников, но со мной он обошелся очень нелюбезно.

- Вы тоже сочиняете? - спросил он меня.

- Да.

- Это хорошо. Только вы, поди, списываете?

- Почему вы так думаете? - спросил за меня мой приятель.

- Да я где-то подобное читывал.

- Кто другой, может быть, так сочиняет, а он - сам, это я знаю, - вступился за меня мой приятель.

- Только я вам скажу, - ваши сочинения никуда не годятся.

- Почему?

- Да вы сами не знаете, о чем пишете; одни слова да фантазия.

Мне эти слова не понравились, потому что я очень много думал о себе. Учиться у него писать я не хотел, потому что он много хвастался собой, и мой приятель сбивал его на многих вопросах. Приятель был умнее его, но сочинений не писал.

Этот литератор, как говорил мне приятель, из кожи лез. На службе он не жил в ладу со служащими, потому что считал себя умнее их и надоедал им своею хвастливостью. Дома он редко читал книги, а больше сочинял и переписывал свои сочинения, которые потом читал в кругу товарищей. Кроме того, он ужасно завидовал всем писателям, помещавшим в журналах свои сочинения, и на каждого доморощенного литератора смотрел со злобой, говоря, что они сочиняют дрянь и хвастаются. Одним словом, ему хотелось прослыть за гения, а так как его сочинения нигде не печатали, то он ругался, ругал почти всю литературу. Зато с каким трепетом он ждал нового журнала и смотрел на обложку!.. "Не поместили еще!" - говорил он, бледнея. Товарищи подсмеивались над ним, но он говорил, что его сочинение нельзя поместить. Вероятно, он ночи не спал, думая: примут ли его сочинение или нет, - и если примут, то он рисовал себе картину будущего блаженства...

Жить у дяди мне надоело. Меня попрекали тем, что я понапрасно жгу свечи, мало получаю жалованья; мне мешали читать разговоры, песни и дядина музыка. Кроме этого, дядя стал крепко испивать водку, ругался на весь дом, бил тетку, играл в карты и много проигрывал. Тетка плакала, просиживала целые ночи, ворожила в карты и заставляла меня читать вслух книги. С каждым днем мне тяжелее и невыносимее казалась служба; судья меня не любил за то, что я переписываю бумаги горному члену; товарищи говорили мне, что я ничего не делаю и беру взятки. Захотелось мне простору, одному захотелось жить - и жить в губернском городе. Я стал проситься в губернский город. Дядя и тетка долго не соглашались.

- Ну, какую тебе черную немочь делать там?

- На службу буду проситься.

- А отчего здесь не служить?

- Не могу...

- Мало ли что - не могу!.. Вишь ты, мы тебе нелюбы стали! Выстегать бы тебя надо!

Я ворчу.

- Молчать! - крикнет дядя, я и замолчу.

Через несколько времени, когда дядя был весел, я возобновил свою просьбу - отпустить меня в губернский. Он опять обругал меня. Уехать мне туда не было никакой возможности, потому что у меня не было денег. Как-то дядю послали исправлять должность почтмейстера в уездный город. Я написал ему, что желаю съездить в губернский город только в отпуск, на неделю. Дядя написал, что делать нечего. Я подал прошение об отпуске на двадцать дней, уговорил тетку, та поплакала и согласилась отпустить. Я поехал. Тетка очень плакала при прощанье, плакал и я.

- Не забывай ты нас, ради бога! - говорила тетка.

- Не забуду, - говорил я, и жалко стало мне тетку. Бедная женщина! знаю, что ты любишь меня по-своему, как сына. Но я не могу жить с тобой: мне свободы хочется, а ты только мешаешь мне.

- Прощайте! - крикнул я ей, когда лошади рванулись, побежали, - и стал я думать о новой жизни, о том: поумнею ли я?

Теперь только я чувствовал себя свободным человеком.

Когда я был очень мал, мне нравилось кататься. Меня, маленького, тетка часто, зимой, возила в лубочных санках, закинув на грудь, поверх капота, веревочку от козел санок. Я болтал ногами, махал руками, кричал от удовольствия, что меня везут, дергал за веревочку, отчего тетка злилась. Когда я подрос, мне нравилось кататься в масленицу с катушек, то есть с небольших гор, сделанных из снега и обливаемых водой. Меня тогда удивляло то: отчего это до масленицы народу мало катается в городе, а с четверга масленицы весь город запружен лошадьми. Даже самый бедный человек, которого никогда не увидишь на лошади, и тот, смотришь, сидит в санях или пошевнях с знакомыми, и тот катается. Смотришь - все какие-то веселые: одни уж очень пьяны, только руками машут да головой, ничем не покрытой, клюют; другие - песни орут; третьи насвистывают и наигрывают на гармониках. На нас, маленьких, тогда не обращали внимания ни наши родственники, ни важные люди, до нас несколько не касающиеся; нас обыкновенно пичкали в углы, для того, вероятно, чтобы показать людям, что и они птенцов имеют. Зато если нас, детей, одних пускали ездить, мы давали себя знать: гикаем, насвистываем; если кто держит вить, то от него достается и своим лошадям, и чужим, и людям не нашего сорта; на нас смотрели зеваки и дивились нашей молодцеватости. Несмотря на наше малолетство, мы, дети бедных людей, были сильнее и крепче баричей и при этом, не стесняясь, высказывали баричам в глаза свое неудовольствие, обзывая их, как только могли выдумать. Родные наши на эти слова ничего не отвечали: или отворачивали головы в другую сторону, или уж очень были заняты смехом, своими разговорами; но мы, от нечего делать, старались как-нибудь разозлить барышень и баричей. В особенности меня удивляло то: отчего это наши родные не могут так свободно выражаться вслух, как мы, дети? Наконец я понял, почему это на нас не обращали внимания: потому что мы малы, нас считали за собачонок, которые только облают, а вреда не сделают;

нас убеждать было трудно, а вся досада вымещалась на наших родителях, которые были в зависимости от начальства. Что прощалось нам, то не прощалось отцам нашим. Кроме этого, на нашу вольность не обращали еще потому внимания, что и барские ребята выделявали штуки почище нас.

Но меня это на пятнадцатом году не занимало: одно и то же надоело, хотелось другого. Уединение на реке и в лесах сделало меня задумчивым, злым; я видел каких-то усталых, больных людей, с фальшивыми понятиями и направлениями. Читал я в книгах, что где-то есть настоящие люди, а где они - бог ведает! С детства мне привелось видеть нужду крестьянскую, но я не знал, отчего эта нужда происходит. Приводилось раз верст семь ехать на барке с бурлаками; я увидал труд тяжелый и не залюбил тех, кто издевается над бурлаками; но я не знал, что это за народ такой. Видел я, как они домой возвращаются, - работа их еще труднее; и опять-таки не знал, отчего они не едут домой, а непременно тянут суденки с хлебом. Но когда мне привелось проплыть с ними триста верст, тогда я заглянул в бурлацкое нутро и узнал их! И мало есть таких людей, которые бы поняли настоящую бедность и причины этой бедности... Случалось мне несколько раз с почтами ездить, но и тут, после двух-трех поездок, я плохо понял семейную жизнь сельских и деревенских обывателей. Когда я пожил там дольше, то узнал, что из бедных людей все выжимают силы, начиная с писаря, священника и т. п.

Мне, прожившему среди почтовой братьи десяток лет, можно свободно разъезжать даром, даже и без почтмейстерского разрешения. Почтовые так и делали: захочется жене сортировщика съездить к родственнице в другой город - угостят почтальона, а потом почтальон посадит жену сортировщика на какой-нибудь улице, только за углом конторы или за заставой. А ребята, ученики, - те в почтовом же дворе садятся в телегу или в сани, - это дети смотрителей. Также и я, как племянник-сын сортировщика, еще нигде не служивший, свободно разъезжал к нашей родне, когда один с почтальоном, а когда и с воспитателями. Теперь мне, служащему, ездить с почтами было неловко, - на том основании, что я был все-таки уже чужой человек: писец уездного суда. Ехать мне до губернского города Ореха на свой счет не было никакой возможности, потому что у меня в кармане было капитала только четыре рубля. Положим, я за четыре рубля могу доехать с обозами, но зато я проеду триста верст неделю, а с почтой я приеду в полторы суток. Скверно то, если случится какое-нибудь несчастье, например, потеряется сумка или подрежут чемоданы под самим почтальоном.

Раз я струсил-таки порядком. А именно, почтальон, с которым я ехал, был выпивши. Почта шла легкая. В телеге было две сумы и одна сумка пустая, посылаемая в губернскую контору на ее распоряжение, за излишеством. Две сумы с корреспонденцией были запечатаны как следует, а в сумке лежали мои вещи, и эта сумка была зашита ременными петлями. В этой сумке была положена еще сумка. Но как ее клали - проглядел почтальон, принимавший почту, и я. Почтальон знал, что у него на руках две сумы и одна порожняя сумка. До первой станции мы ехали весело. Почтальон был очень разговорчив, много говорил о прошлом бурсацком житье, и в особенности жалел, что он не мог пробыть в семинарии только одного, последнего, года, - стало быть, он был в богословии, но исключен из семинарии за какое-то буйство. Одним словом, он был человек неглупый, но, попавши в разъездные почтальоны за какое-то неуважение к губернскому почтмейстеру, он стал пить водку горше прежнего. Первую станцию мы проехали без всяких приключений.

Приезжаем мы на другую станцию. Смотритель встретил его и меня любезно, - его потому, что он с ним, назад тому год, служил почтальоном в губернской конторе; а меня - потому, что дядя часто ездил к нему разбирать жалобы, и ямщики любили дядю. Стали поверять почту по подорожной. В подорожной написано: из Кочана сума, С. П. Б. 1859 г., N 1021, весом 5 пуд.; из Тюленя по тракту одна сума московская 1860 г., N 1200, весом 6 пуд., в ней три порожних сумки, такие-то. Дальше следовала отметка, что сумка московская 1860 г., N 1007 и сумка московская 1853 г., N 397, - препровождаются в Орех. В наличности оказалась только одна сумка за N 397. Почтальон струсил, стал спрашивать ямщика:

- Ты сколько брал сумок?

- Три. Тебе больше знать-то надо, потому ты из города ехал.

Смотритель стал ругать ямщика: как же ты, морда эдакая, не знаешь?

- Я, что ли, ехал из города-то! Я што взял, то и привез.

Подобных штук со смотрителем никогда не случалось, и он, как ни вертел подорожную, пришел к тому заключению, что или почту ограбили, или сумка дорогой потеряна. А таких случаев все почтовые ужасно боятся, будь они хоть расчестные господа. Главное, чего они боятся, - это следствия.

- Как же ты, скотина ты эдакая, ничего не видел? Ведь сумки нет! Что ты делал? Спал, шельма! - закричал он на бедного ямщика.

- Спать не спал, да и они не спали, - отозвался ямщик.

Почтальон вступился за ямщика.

- Сумка пустая, не важность.

- Пустая! С которого боку она пустая-то? Разве в подорожной написано, что такая-то, за таким-то номером, - пустая. Может, там деньги были.

От такого резона почтальон струсил: в подорожной действительно не значилось, пустая ли была та сумка. Смотритель сделал оговорку в подорожной, что такой-то переходящей сумки не оказалось, и тотчас же послал ямщик, на первую станцию. До следующей станции мы только и говорили с почтальоном, что о потерянной сумке; почтальон говорил: вот я и солдат! Я думал: вот черт мен сунул ехать с почтой, да еще непременно с этой! Ямщик соболезнавал нам и, с своей стороны, пугал нас разным рассказами о том, как и когда подрезывают почты и какие бывают за это наказания ямщикам и бедным почтальонам. На следующей станции по этому случаю смотритель долго не соглашался, чтобы я ехал с почтой. Дело объяснилось на четвертой станции от города. В сумке у меня лежал мешочек с кренделями. Дело было вечернее. Только что я открыл чемодан, мне с самого начала попала руку сумка. Почтальон был очень рад такой находке; сверили мы номер сумки с подорожной, - оказалось, что сумка эта и есть. Долго мы потом хохотали над смотрителем и сами над собой, потому что больше ничего не оставалось делать; а почтальон после этого выпил косушку водки и спал хорошо от станции до станции. Других происшествий с нами уже не случилось больше.

Не знаю, как кому, но мне было скучно ехать. Хотел я любоваться лесом, полями и небом - не стоило. Лес, и поля, и небо я давно знал, они везде одинаковы, даже и в различное время. Только здесь больше лесу, чем около городов и селений; земля возделывается, кажется, очень прилежно, но производство очень плохо. Спросишь ямщика: "Хорош ли урожай?" - "Худы, - отвечает он, - бог их знает; ровно и лето хорошее, а все толку нет..." Много мы проехали сел и деревень, везде бедность, только, кажется, животным здесь можно жить. Спросишь ямщика, отчего народ беден и отчего дома у них стары и строятся так, что в пожар вся деревня может выгореть, - одна постоянная оговорка: што делать! божья воля! - или: неоткуда кормиться, подать надо; начальство всякое уж ноне очень строго да туго, в город идти робить далеко, да и без нас там народу много... - Но главное, на что жаловались крестьяне, как я слышал их разговор на станциях, - все они большею частью были крепостные, хорошую землю от них отняли, наделили их землей такую, что она или камениста, или ее нужно разрабатывать пять и больше лет. "А у нас и прежних-то долгов сколича! вот и дали землю, да на помещика заставляют робить, потому-де оброков много насчитали... А хоша бы им нужно было что..." Действительно, помещики, забрав старую, хорошую землю, которую прежде обрабатывали крестьяне, и наделив их сообразно своим

выгодам, оставили у себя в запасе еще много земли, и эта земля остается без всякой обработки.

Мне привелось видеть несколько сцен по новому устройству быта крестьян. Спрашивал я крестьян о мировых посредниках и судебных следователях, - утешительного немного: в судебные следователи назначались различные столоначальники ради жалованья и брали вдвое против прежнего: судебный следователь без станowego ничего не мог сделать, становой делился со следователем; если не просил с крестьян следователь, то крестьяне давали становому. Кроме этого, университетские не знали быта крестьян, и мировые посредники только хвастались, что они приносят пользу. С помещиком мировой посредник хорош, в карты играет, за дочками ухаживает; возиться с мужиками некогда, а так себе поговорит с крестьянами. "Уж красно они говорят, да дела не делают в нашу пользу", - говорят крестьяне. И действительно, говорит посредник долго, по-крестьянски старается заговорить; крестьянин слушает, чешет себе бока да затылок, улыбнется широко, когда посредник скажет теперича... "А прокурат этот посредственник: мягко стелет, да жестко спать; хоть бы удовлетворил, чем язык чесать: коли начальство, так не дури; коли ты помогать нашему горю приставлен - не представляйся, а добро нам делай". А посредник рассуждает о крестьянах так: "Плут этот народ! А как глуп, - черт знает что! Бьешься-бьешься с ним, и так, и эдак, - ничего не понимает"... Экие вы умники! Дайте я вас по головке поглажу...

Наконец мы подъехали к заставе губернского города; ямщик подвязал колокольцы, чтобы они не брякали: не приказано - здесь губернское начальство.

Два года я не видел города Ореха и думал, что он хотя по наружности переменялся. Ничуть не бывало. Как дома стояли прежде, так и теперь стоят. Даже вон березка у заставы стоит, боятся ее срубить, еще не дошло время. Я слез у заставы, взял мешочек с форменным сюртуком и направился к городу. Было утро. Меня обхватил родной ветер; опять задышалось как-то легче прежнего. Теперь я был один, был свободный, потому что был уволен в отпуск. Но я чувствовал, что я здесь чужой, чужой потому, что служу в уездном городе. "Нет, я буду ваш опять, - думал я, - я буду губернским служащим..."

Стали мне попадаться чиновники. Идут они, позевывая, на службу, идут как-то нехотя. На желтых лицах ни одной улыбки не заметишь, но заметно в них только какое-то чиновничье достоинство, уважение к самим себе: на фуражке кокарда, поступь чиновничья, и сморкаются по-чиновничьи. Смешно видеть этих забитых людей в то время, когда они идут мимо начальнического дома: видно, что им не хочется идти мимо окон, - трепет какой-то вдруг напал, и зло берет. Один своротил с тротуара, пошел около стены, - хорошо, что окна высоки, можно согнуться; другой идет по тротуарам, смиренно глядит в окна и держит правую руку наготове; третий идет за ним следом в таком же настроении; второй прошел благополучно, а третьему не посчастливилось: прошел мимо одного окна, мимо другого, заглянул в третье - и вмиг снял фуражку, пошатнулся и проступился в тротуарную дыру... Шла мимо его какая-то торговка с молоком, это ее рассмешило: эк те, голубчик, угораздило! поди-кось, ушибся, - не проспался, голубчик!.. Меня зло взяло. Впечатление было нехорошее на первый раз.

Дорогой много было передумано, как мне жить в Орехе. Нанять квартиру с первого разу мне трудно было. Знал я, что в Орехе живет мой дедушка Максим Варламыч Болдырев. Дедушкой он мне приходился как-то сбоку: говорили, что он мать мою воспитывал и выдавал ее замуж за моего отца. Прежде он служил столоначальником в губернском правлении, потом его сделали становым приставом; овдовевши, он женился на кухарке, за что его возненавидели мои родные и очень рады были, что он попал под суд по какому-то делу, о котором ходили между ними различные слухи.

Так как дедушка прежде очень любил меня, то я рассчитывал на хороший прием и даже на то, что он, может быть, устроит как-нибудь мой переход из уездного в губернский город.



Принял он меня вежливо и рекомендовал своей жене так:

- Ну-кось, ты, корова! Кланяйся внучку Петру Иванычу... А ты, Петинька, не знаешь, поди, еще, что я женился на этой корове?

Мне смешно было на первых порах слышать подобную рекомендацию, но я все-таки похвалил дедушку за его женитьбу. Я пришел к нему как раз к чаю. Он и жена его очень обрадовались моему приходу; как водится, засыпали вопросами о моих воспитателях, о городе, о службе, о членах и т. п. Дедушка рассказывал про свое житее очень много и уморительно, ругал начальство разными манерами, высказывал, что он честный человек; но из разговоров его я заметил, что он заговаривается: начнет о чем-нибудь говорить длинным вступлением, местность объяснит, заговорит об одном человеке и говорит полчаса, кто он такой, какое у него лицо, что он сделал в жизни, - и своротит с одного предмета на другой, так что история выходит очень длинная и кончится, вероятно, через неделю. Жена его привыкла уже к таким разговорам, не слушает его, да ей и некогда слушать, потому что надо стряпать и убирать во дворе и за скотиной. От дедушки я узнал, что он под судом и для меня ничего не может сделать; что губернатор человек умный, но старых людей не любит, не любит подсудимых и определяет на службу без разбору только мальчишек; в особенности - он только обещает, а слова не держит. Видно было, что губернатор ему или чем-нибудь не нравился, или чем-нибудь обидел его.

С замиранием сердца я пришел в одиннадцатом часу в губернаторскую приемную с докладной запиской и формуляром. В прихожей много толкалось просителей, большею частью крестьян и бедно одетых женщин; в приемной стояли, как видно, люди чиновные и богатые. В этой же приемной сидел молодой человек из губернаторской канцелярии, который знал меня в детстве. Когда я вошел в приемную, он гордо посмотрел на меня и спросил: что надо? Я промолчал. Он обиделся моим молчанием, встал и подошел ко мне.

- Что вам угодно?

- Я пришел не к вам, а к губернатору, - ответил я резко.

- К кому?

- К губернатору.

- Здесь нет губернатора, а есть начальник губернии.

Меня зло взяло. Я думал, что меня, пожалуй, выгонят из приемной, но за меня заступился какой-то купец.

- А по-вашему, начальник губернии и губернатор - не все единственно?

- Нет, не все одно.

- Ошибаетесь, любезный.

- Я не любезный, а чиновник...

- Оно и видно!

- Не с вами говорят; вас не спрашивают!

Просители захихикали, а чиновник покраснел и, сказав мне: "Убирайтесь в прихожую!" - сел к столу и стал читать газету. Я ушел в прихожую и целый час был предметом развлечения для просителей. Сначала они оглядывали меня, а потом стали спрашивать:

- Вы, верно, не здешний?

Я сказал.

- То-то. Здесь губерния, выходит. Кто, значит, с губернатором служит - власть имеет.

- Я не боюсь его...

- Все-таки!..

Губернатора ждали долго. Наконец он показался в приемной. Это был невысокий худощавый человек в военной форме и нисколько не отличался от чиновников, которых я видел утром. Он подходил к просителям и говорил с ними очень любезно. Чиновные просители, как видно, очень остались довольны им и выходили с веселыми лицами. Когда он кончил с бывшими в приемной, то вошел в прихожую и обратился прямо ко мне:

- Отчего вы не в приемной?

Я хотел сказать: его благородию угодно было, чтоб я был здесь, - но робко сказал, поглядев на крестьян: мне и здесь хорошо... Губернатор сморщил брови и обратился к крестьянам сурово:

- Вам что надо?

- Да насчет земельки все, ваше высокосиятельство.

- Опять за тем же! Я вам сказал, что ничего не могу сделать.

Один повалился в ноги: не обидь, государь...

- Это что такое?.. Встань, любезный...

Крестьяне не унимались. Губернатор закричал:

- Я вам сказал, что ничего не могу сделать: у вас есть положение, мировые посредники...

Крестьяне смирились, почесали затылки и пошли вон. Губернатор подошел ко мне.

- Вы что скажете? Кто вы такой?

- Кузьмин.

Губернатор, расспросив, где я служу, взял мою докладную записку и прочитал мой формуляр. Почерк мой ему понравился, и он сказал мне:

- Хорошо, я вас переведу в свою канцелярию.

Я поклонился и спросил, когда понаведаться; он сказал: послезавтра. Я очень обрадовался и в восторге шел к реке. На берегу, против почтовой конторы, я заметил перемену: там строили загородку и садили деревья, сделаны лавки. Я сел на лавку и стал смотреть на реку. Нисколько она не изменилась в два года: по-старому на ней плывут запоздалые барки, плоты; так же за рекой видны лодки и два балагана, принадлежащие заклятым, рыболовам; только больше стоит барж и чаще прежнего приплывают издалека и отплывают за тысячу верст пароходы. Но все было как-то скучно: на дома посмотришь - все такое же старье, жизни около них мало; на берегу ходят и сидят только приезжие; на самой реке тоже мало жизни, не то, что было прежде.

В губернаторскую канцелярию мне не привелось поступить. Губернатору сказали, что я был

под судом, и он отказал мне. Целую неделю после этого я ходил к разным председателям с докладными записками, но они все отказывали мне. Дедушка говорил мне, что ныне определяют за деньги или по протекции и что мне лучше уезжать назад. К счастью, я отыскал здесь какого-то родственника тетки, который принял во мне большое участие и посоветовал сходить к губернскому казначею, но сказал мне предварительно, что ему можно дать пять рублей.

Губернский казначей встретил меня грубо.

- Что тебе надо?

Я подал ему докладную записку. Он прочитал.

- Вакансий нет, убирайся! Только мешаете чаю напитокся.

- Я вам заплачу...

- Ну?

- Сколько прикажете?

- Двадцать пять рублей; только прозаниматься нужно с неделю на испытании.

- Я не могу теперь дать, потому что у меня всего три рубля.

Губернский казначей повернулся и вскричал:

- Гаврило, проводи вот этого.

Много мне говорили хорошего о казенной палате и председателе. Мне и прежде хотелось поступить в эту палату, тем более теперь, когда в ней есть библиотека. Я пошел к председателю. Председатель принял меня любезно, долго говорил со мной насчет моей службы в суде и велел заниматься в канцелярии на испытании одну неделю.

Через две недели меня зачислили в штат. Когда я написал об этом дяде, он ответил: живи как хочешь, я тебе помогать не буду. На первый месяц мне дали шесть рублей, и я, живя у дедушки, не нуждался в деньгах.

Для человека не с моим характером у дедушки хорошо бы было жить. Он был добрый, практический, умел занять кого угодно, но через час надоедал своими рассказами и хвастовством. Считая себя за честного человека, он говорил, что становому нельзя не брать взятки, и даже с торжеством рассказывал, как он однажды взял с богатого крестьянина за мертвое тело двести рублей и разделил их с лекарем. Жизнь он вел животную: спал после обеда и ночью на мягкой перине с своей женой, ел много, парился в бане всласть, особенно много пил водки, и все остальное время проводил или в ходьбе, по комнате, или играл в преферанс с женой и со мной. Летом и зимой он ходил дома в меховом халате, который от сала и грязи походил на крестьянский зипун; за пазухой постоянно у него лежал платок и берестяная табакерка с нюхательным табаком. Ему было шестьдесят два года, но волосы еще не седели, зато лицо было безобразное: широкое, морщинистое, постоянно опухшее. Жене его было двадцать семь лет; она была высокая, здоровая и красивая женщина, с черными волосами и бровями. Стоило ей только толкнуть пьяного мужа, и он, как сноп, валился на пол. Она двенадцать лет прожила у дедушки, сначала на посылках, потом в прислугах, - и поняла его хорошо. Он ее полюбил, да и она привязалась к нему, и они обвенчались. От крестьян она отстала и уже не могла годиться в жены крестьянину, потому что на нее много влияла чиновничья среда; но при всем том в ней не было и тени гордости; она ходила во двор босиком, сама доила корову, сама ходила на реку по воду и была, как и прежде, работницей в доме, с тем только различием, что в праздники носила

шелковые платья и шляпки, в которых она казалась очень смешною. Любо было смотреть на этих супругов, особенно утром. Дедушка вставал в пять часов, жена часом позже. Встанет, бывало, дедушка и пойдет чистить во дворе, дров наколет, печку затопит, потом начнет будить жену. Жена встанет, умоется, помолится, корову подоит, дедушка самовар поставит. Чай пили больше молча, потому что обоим супругам не о чем было говорить. Хорошо, если у соседей какая-нибудь новость случилась, например корова отелилась, сын родился, такая-то захворала, такой-то свою жену выгнал. После чаю садятся они в кухне на лавку.

- Ну-ка, Болдырько, чисти картофель! - говорит жена мужу.

- Асинькой?

- Чисти, говорят.

- Чевой ты?

- Ну!..

- УУУУУ! Экая ты коровушка, матушка... барыня, помелом обмазанная...

Дедушка начинает чистить картофель, а жена его моет посуду или готовится мясо к щам. Делают молча. Дедушке делается скучно. Подойдет он к шкафу, возьмет шесть копеек денег и пойдет в питейную лавочку, а если он пошел туда, то и будет ходить целую неделю, раз по десяти в день. Пьяный дедушка был несносен: он долго не мог заснуть, ходил или лежал и постоянно рассуждал вслух. Особенно он надоедал мне. Читаю я, бывало, книгу, а он подходит ко мне и начинает чего-нибудь рассказывать, что я уже слышал от него раз десять. Надо слушать, а то он обидится, обругает, что и случалось часто. Если ему не хочется говорить, он ругает жену, как только может, хочет ее ударить, она ловко отвертывается, и это его еще больше злит. Пьяному ему часто приходило в голову, что он напрасно женился, что он даже вовсе не хотел жениться, но его насильно обвенчали священники, - и раз даже хотел прогнать жену, чего, конечно, никогда бы не сделал трезвый. Впрочем, его и жену его все соседи любили за то, что они давали в долг деньги без расписок и процентов.

Мне по-прежнему хотелось жить одному. Уж если мне надоело с воспитателями, то я в таком семействе никак не мог жить, потому что здесь мне мешали читать. Поэтому я ночи спал больше в каретнике, в зимнем возке, а после обеда там же читал книги.

Каждую неделю я ходил к матери Лены. Жили они в это время очень бедно, занимали две комнатки, за которые платили по два рубля в месяц, и пробавлялись только тем, что шили халаты в гостиный двор; жить бы еще было можно как-нибудь, но мать пила по-прежнему водку и пропивала все, что зарабатывала. Лена была теперь красивая, высокая девушка шестнадцати лет, но насколько она развита - я не мог знать, потому что при мне она больше молчала, да и мать никуда не выходила из комнаты. Когда же мать выходила из комнаты, то я не знал, что сказать дочери; она краснела, ниже склоняла голову к работе или смотрела в окно, выходящее во двор. Придешь к ним, поздороваешься, справишься о здоровье, тебя спросят: здоровеньки ли вы? что новенького? Здоров я, это видно сразу, иначе бы не пришел, но уж таков обычай у русских людей, что надо справляться о здоровье. Что же касается до новостей, то я их почти не знал, потому что читал только журналы. Ну, и скажешь: не знаю! - покраснеешь, неловко как-то делается, что я новостей не знаю. Спросит мать еще что-нибудь, отвечу что придется, а потом и сядешь да куришь папиросы. Все молчат, и ты молчишь; тошно становится, досадно, что я не умею занять их, что, пожалуй, еще сочтут меня глупым; хочется уйти, а тянет к стулу... Сядешь и опять только смотришь то на мать, то на дочь. Тошно станет, встанешь и берешь шапку. "Вы куда?" - "Домой". - "Что вам дома делать? Посидите". - "Некогда, скучно". - "Да посидите, Петр Иванович!" - скажет она. согласишься и опять сядешь молча. Не то бывало с другими мужчинами, которые приходили к матери Лены. Это были все женихи. Они прямо высказывали это, несмотря на то, что двое из них служили в

одном месте, жили на одной квартире, а третий уже собирался жениться в третий раз.

Один из них был канцелярский, а другой вольнонаемный писец, сосланный сюда за какие-то мошенничества, о которых он рассказывал очень горячо. Получали они жалованья по пяти рублей и пробивались различными доходами. Я заметил в них большую испорченность: они только и говорили, что о каких-то женщинах Да открытых домах, и старались перехвастать друг друга, кто из них имел больше успеха. Об Лене они рассуждали с такими грязными намеками, что даже мне обидно за нее делалось.

Мне захотелось спасти эту девушку от соблазна и откровенно переговорить с нею и матерью. Но как начать? В мою башку засела глупая мысль: уж не торгует ли мать дочерью? Я твердо решил высказать это обеим.

Однажды я пришел к ним и застал Лену одну. Она, кажется, была рада, что я пришел.

- Где мамаша?

- Ушла куда-то, скоро будет.

- Ничего, если она меня застанет?

- Полноте, Петр Иванович! она вас очень любит.

- Это вы что починиваете?

- Манишку Сергею Ильичу... А что?

- Так... Елена Павловна, мне бы с вами много надо поговорить, да негде.

- И мне бы хотелось.

- Так давайте, мы люди давно знакомые... Скажите, пожалуйста, что это за мужчины к вам ходят?

- Женихи! - И она рассмеялась, но потом как будто ей досадно стало.

- Это женихи плохие: я говорил с ними.

- Я знаю. Да что делать, если мамаша принимает их?

- Зачем она принимает?

- Не знаю.

- Ведь она не хочет вас выдать за них?

- Нет. Сватался какой-то при мне, да я сказала, что не хочу замуж. Я лучше в монастырь пойду. Надоело мне жить-то даже, Петр Иванович, - моя мать мне даже опротивела... - проговорила она с досадой.

Мне жалко было бедную девушку; сердце билось сильно. Я злился.

- Теперь старайтесь как-нибудь все сносить, - сказал я с желчью.

- Да тошно жить-то. Кроме того, что она заваливает меня работой и ругает с утра до вечера за какое-то неумение, она корит меня еще тем, что ко мне ходят мужчины.

- Пусть ее корит. А вы сделайте вот что: если придет какой-нибудь мужчина, которым она

попрекает вас, вы скажите матери - зачем, мол, вы принимаете его? прогоните его!

- А если он станет говорить ей что-нибудь худое про меня?

- Не посмеет. А если станет, плюньте ему в поганую рожу.

- Это нехорошо!

- А они хорошо делают?

Пришла мать навеселе. Напились чаю. Я приступил к делу.

- В прошлый раз я был у женихов вашей дочери, - сказал я ей, - и узнал, что это за люди.

- Что же они?

- Они рассуждают об Елене Павловне очень скверно. - И я рассказал, ей все, что слышал от них.

Мать озлилась, обругала их, выхватила манишку из рук Лены и, швырнув ее на пол, начала бранить Лену.

- Елена Павловна не виновата. - Больше я ничего не мог ей сказать, потому что она обругала бы и меня, а пожалуй, и прогнала бы. С этих пор я не видал в ихней квартире мужчин-женихов. Об Лене я так рассуждал: что она девушка честная, но не развитая. Ей нужно много читать, многое растолковывать. И стал я ходить к ним реже, читал книги, но говорить с ней мне так откровенно, как в прошлый и в первый раз в жизни, больше не приходилось, потому что мать ее постоянно сидела с ней, несли нужно было что-нибудь купить в лавке, посылала ее. Было раз предложение пройтись с ними по бульвару, но я отказался, потому что не имел намерения жениться, а в Орехе люди были такого понятия, что если молодой человек ходит с девицей, то он или жених, или любовник; или просто словил где-нибудь ее в темном углу.

А любовь проклятая все более и более усиливалась. Идти к ним хотелось каждый день, но только что пойдешь, дойдешь до их улицы, подумаешь: что мне там надо? Озлишься, что она не одна, и вернешься назад. Но как ни удерживаешь себя, а через месяц опять идешь туда, и опять зеваешь и проклинаешь себя за то, что идти бы вовсе не следовало.

В скором времени я поссорился с дедом и нанял себе отдельную квартиру. В доме, в котором я поселился, были две комнатки с печью и кухня, тоже с печью и полатями. В первой комнате помещался я, а в другой жил какой-то бывший дворовый человек, занимавшийся прислуживанием в трактирах и помогавший половым сбывать воровские вещи. Он жил с любовницей, которую называл своей женой и которая даже не имела паспорта. Так как в Орехе не существовало порядка, чтобы жильцы предъявляли свои виды в полицию, то хозяева часто не спрашивали видов от жильцов, одетых прилично. Скажет жилец, что он отставной губернский секретарь, хозяин и считает его за хорошего жильца, лишь бы он платил деньги хорошо. Уже после оказывается, что жилец - беглый солдат. Крюков, квартирант рядом со мной, приходил домой поздно, пьяный, бил свою жену чем попало, ругал хозяина и корил свою мать-старуху тем, что она ест его хлеб. Как ни работала его любовница, как ни добывала деньги мать нищенством и мытьем полов, он все деньги проигрывал на бильярде, пропивал и не являлся домой по неделе. Были тут и другие жильцы: жили мещане, семинаристы, дьячки и чиновники. Все эти господа очень не нравились мне, и, через неделю или месяц, я, чтобы избавиться от них, ловко выживал их из дому и впоследствии завладел обеими комнатами.

Хозяева меня любили; я привык к ним. Оба, муж и жена, - молодые, бедные, потому что оба

ленились. Я удивлялся, как это хозяин может сидеть сложа руки, тем более что он умеет писать. Сколько я ему ни советовал заняться чем-нибудь, он остался при том убеждении, что служить, кому бы то ни было, он не хочет, а к работе непривычен. Получит он от меня денег, пропьет их, а потом бьет жену, которую трезвый он очень любил. К лени их побуждало, может быть, и то, что их родные привозили им мясо, муку, масло и проч.

В это время я очень скучал. Мне хотелось иметь друга, но такого друга, какого нужно было мне, а не мог найти. Я рассчитывал, что не ошибусь, если женюсь на Лене, но, во-первых, я все-таки не мог узнать ее хорошенько, а во-вторых, мне не хотелось жить с ее матерью. Но как ни думаешь, а пойдешь к ним. Подойдешь к их квартире, и вдруг Чувствуешь, что сделается как будто стыдно, хочется уйти назад, а правая рука уже дверь отпирает... Теперь поздно! Вон она сидит, шьет. Оглянулась на меня, улыбнулась...

- Здравствуйте, Елена Павловна!

- Мое почтение. Здоровеньки ли?

- Покорно благодарю. Мамаша дома?

- Спит.

- Что подельваете?

- Шью.

- Что новенького?

Все это было переспрошено уже много раз и прежде. После этого настает скука.

- Вы прочитали такую-то книжку?

- Не успела... А вам надо?

- Нет еще... Вы бы как-нибудь прочитали.

- Некогда.

Опять молчим. Я курю и смотрю на нее. Хороша ее головка; и волосы, и лоб, и лицо хороши.

- Что подельваете? - спросит вдруг она.

- Читаю. Я вот что вычитал, - и рассказываю, что вычитал; она молчит, и кажется, что ей это не нравится. Она любила читать и слушать только смешное; я же смешное не умел рассказывать.

- Вы поняли?

- Что?

- Что я говорил.

Она покраснеет и скажет: - нет; мне досадно сделается.

- Об чем вы это говорите, - скажет мать, вылезши из другой комнаты, и поздоровается.

Мать была со мной очень любезна и намекала, что ей хотелось бы, чтобы я женился на Лене. А я сильно боролся: жениться или нет? Написал я дяде об этом, тот ответил, что он мне приищет богатую невесту, но, впрочем, не запрещал.

Были Ленины именины; я был у нее. Мать выпивши, дочь скучная. Ели орехи, играли в карты, в дурачки. Мать угостила меня водкой, и я, захмелев порядочно и набравшись храбрости, вызвал ее в другую комнату и сказал ей о своем намерении.

Мать обрадовалась, но сказала, что она спросит ее согласия и приневоливать ее не станет, за ответом ведено прийти дня через два. Оказалось, что я должен ей купить шляпку и салоп, а у меня было денег только три рубля. Я вышел от них, точно ошеломленный.

Дорогой я опомнился, что сделал глупость. Я даже обиделся на себя за то, что начал с матери, и решил не ходить к ним; С этих пор я стал заниматься крепче, и когда мне хотелось идти к ним, я уходил к знакомым товарищам... Хорошо, что у меня были все новые товарищи и хорошие знакомые. Я им говорил, что хочу жениться; они смеялись надо мной; у них я развлекался и приходил домой поздно, большею частью пьяный. А пил я не с горя, а просто баловался, да и товарищи были такие, что отделаться от водки не было никакой возможности.

Через месяц я услышал, что Лена выходит замуж за фельдшера, человека, имеющего свой дом. Это меня на первый раз взбесило, а потом, как я обдумался, мне стало как-то легче. В это время я пришел к тому заключению, что Лена меня не любила и что я бы покаяться, если бы женился на ней.

В Орехе один человек прозвал меня самолюбивым; действительно, я о себе очень много мечтал: стихи писать мне ничего не значило. Я драмы катал сплеча и думал, что я славный сочинитель. Думал я, что если я куда-нибудь пошлю, в редакцию, свои сочинения, то там не напечатают только потому, что я не чиновник. Хотелось мне посоветоваться с умными людьми, но к ним трудно было подступиться. Нравился мне один столоначальник палаты, бывший мой учитель, потому что он был действительно умный господин. Ему-то я и написал письмо такого рода, что я считаю его за умного человека, уважаю и потому прошу его прочесть одну мою драму. Он согласился. Прочитавши драму, он сказал мне, что содержание ее хорошее, но написана она неудачно. Через несколько времени я написал письмо другому умному человеку, Павлову, служившему в палате же и которого любил председатель. Он рассказал мне, как писать, и принял во мне большое участие. По его совету я написал статью для губернских ведомостей о казенно-палатской библиотеке. Он ее поправил. Когда я увидел ее в губернских ведомостях, то был в таком неопisanном восторге, в каком, я думаю, не был и дядя, когда увидел свое производство в сенатских ведомостях. Я чувствовал какую-то необыкновенную силу в себе, как будто я выше и умнее всех казенно-палатских стал. Служащие меня то и дело поздравляли. Показали статью председателю.

Председатель призвал меня к себе.

- Написано хорошо. Это не вы сочиняли?

- Нет, я.

- Как же вы пишете, а меня не спрашиваетесь?

- А разве нужно?

- Конечно, нужно. Вперед будете писать, - не смейте без моего совета печатать.

Я обиделся таким предложением и решил не исполнять его. После этого я завалил редактора своими статьями. Он не знал, что делать с ними, и только одну из них напечатал, за которую меня приказные собирались даже поколотить. Когда я стал просить у редактора денег, он сказал: я говорил вице-губернатору об вас, но он не соглашается дать.

В палате все считали меня за сочинителя, но начальство, как и подобает быть, обращалось



со мной как с писцом, и ухом не вело, что у них служит такой герой. Один секретарь только подсмеивался на всю канцелярию: вот уж он нас отчекрыжит в губернских-то... только меня, пожалуйста, не тронь!

Отчекрыжить мне их не привелось, а отделал меня самого в губернских ведомостях бывший школьный товарищ, написавший в них много статей и бывший уже теперь поверенным. Он так меня отделал, что я вмиг слетел с высоты своего блаженства: мне совестно было и глаза показать на улицу.

Написал было я еще одну статью, да уж очень резкую. Прихожу я к редактору, он подает ее мне назад.

- Я отдавал ее советнику губернского правления. Он всю ее похерил.

Посмотрел я, - такими толстыми чертами, как мазилкой, исчерчено, точно он тараканов бил и размазывал по бумаге, но своего ничего не написал. Взял я назад ее и уж больше ничего не отдавал редактору.

Большинство служащих в палате при мне состояло из отцов, детей и родственников, так что полпалаты было родня друг другу; все они жили своими домами и на судьбу не жаловались. Молодые люди женились рано и очень выгодно. Они женились и на мещанках, но только в таком случае, если у невесты был дом или если через них можно было получить в палате должность. Канцелярские чиновники хотя и казались с виду приятелями, но всячески старались обидеть чем-нибудь товарища, наговорить на него начальнику или выслужиться.

Губернатор не любил молодых людей, трусил их почему-то, и даже хотел закрыть нашу библиотеку, но председатель устоял против этого: библиотека эта была открыта председателем по совету одного лица. Открыли ее пожертвованиями: советники пожертвовали старые журналы, разрозненные, дрянные книжонки, да по подписке собрали рублей сорок; дали спектакль в пользу библиотеки и, за расходами, получили рублей тридцать. На эти деньги не могли выписать много книг, но все-таки некоторые периодические издания были выписаны. Когда разрешили выдавать книги посторонним, денег собралось больше. Читающих с первого разу было очень мало; большая половина палатских служащих не соглашалась платить рубля за годовое чтение, - у них уже вычитали силой. Для палатских служащих библиотека была местом для курения, и многие поговаривали, что не худо бы здесь открыть буфет с водкой и закуской. Через два года библиотека пришла в такое жалкое положение от небрежности библиотекарей и их помощников, книг стало так мало для посторонних читателей, а денег еще меньше, - что дельные служащие советовали продать книги и деньги разделить между собою. Для этого библиотека собирала общие собрания, но дело кончилось ничем.

В это время я в губернском городе заметил большую перемену, как все выражались. Прежде редкого жителя можно было вытащить из дому к реке, теперь каждый в шесть часов вечера, два раза в неделю, выползает из своей норы и, позевывая, идет не торопясь на берег, в загон (загородка). Там, по приказанию губернатора, два раза в неделю играет музыка. Это устроилось сообразительностью единственного в этом городе военного генерала (губернатора). Пошел он на берег. Местность понравилась ему. Пошел в другой раз, в третий. Город подивился: зачем это губернатор на берег ходит? Пошли пять человек - и испугались губернатора. Приказал он сделать загородку и насадить деревьев. Город понял, в чем дело, и улыбнулся над такой штукой. Березки эти скоро обглодали козы, и народ стал ходить к реке, не чувствуя никакого удовольствия, а наблюдая за барами, как те ходят, какие на них наряды, не оступится ли кто-нибудь и т. п.; а после гулянья чиновники рассказывают дома, как какой-нибудь невежа наступил на помело барышни и как та обозвала его дураком. Теперь народ собирается для музыки; большинство смотрит на музыкантов, остальные ходят. Не знаю, как теперь, а при мне мелкие чиновники стеснялись быть в загоне, потому что там

гуляло парадное начальство. Чтобы привлечь еще больше народу, губернатор раз с ватагою передовых людей города изволил спуститься пешком с горы, прокатиться в лодке, замочить, по неловкости, свои брюки и опять взбежать на гору. Такой штуки от него не ожидали, - подивились, и в другой раз народу собралось больше, но уж штуки не вышло, и губернатора в этот день не было.

Просвещенные люди стали говорить, что теперь все городские сословия стали сливаться воедино.

Я в это время испытывал полное чиновническое счастье. Начальство ко мне благоволило и обещало в палате какую-нибудь должность. Дядя радовался, что я получаю уже двенадцать рублей. В городе были у меня приятели, которых я угощал водкой, и сам угощался ими до положения риз. Но все это - пьянство, карты, приятели и служба - ужасно мне надоело. Были, впрочем, и хорошие приятели и говорили красно, либеральничали, называли себя передовыми людьми, но при случае подличали и делали гадости. Станешь им говорить, что это нехорошо, - они говорят: нельзя, с волками жить, надо по-волчьи выть.

- В столицу! - думал я. Но как ехать? Что там делать?

А уехать мне очень хотелось. Привычный к холоду и к разным квартирам, я не верил различным рассказам об ужасах столичной жизни. Товарищи смеялись надо мной и называли меня помешанным. Дяде я не писал об этом. Но ехать не было никакой возможности, и я с ужасом представлял себе свою жизнь в провинции и то, что будет со мною лет через десять. Неужели я буду такой же, как мой дядя или как эти губернские чиновники?.. Вся цель их жизни заключается в том, чтобы дослужить до пенсии да отдохнуть от тяжелой жизни. А из меня, видно, выйдет калека на всю жизнь...

Случай скоро представился, и люди прозвали его дурацким счастьем.

Председатель наш не жил в ладу с советниками палаты; он считал их глупее себя, хотел, чтобы уважали его и слушались. Но они только притворялись, что слушали его и уважали, а за глаза ругали его и хвастались перед бухгалтерами, контролерами и столоначальниками, что они упекут председателя. Остальные служащие, и даже сторожа, желали, чтобы он провалился. Эта нелюбовь происходила оттого, что он мучил хороших переписчиков, ругал писцов, столоначальников и сторожей и вообще со всеми, даже с секретарем, обращался: "эй, ты!" Но, при всем этом он хотел сделать служащим много полезного, только это полезное выходило у него в грубой форме. Сидит он в своем кабинете и вдруг призывает секретаря: "Эй, ты, как тебя?.. Ну, напиши мне проект... такого рода, как бы тебе сказать?.. Ну, одним словом, я хочу устроить, чтобы чиновники сшили себе платье дешевле... Да живо... Понял?" Секретарь был у нас смиренный; председателя он всегда боялся; закричит председатель: позвать секретаря! - он и бежит в кабинет, а как председатель засыплет его словами, он и растеряется. Кроме этого, секретарь знал хорошо только свою часть, по канцелярии, и все проекты были для него мученьем. Скажет секретарь: понял, - и выйдет, растерявшись. Сядет он на свое место и начнет думать. Члены пристают к нему с разными посторонними вопросами, а он боится позабыть, что ему говорил председатель. Члены подсмеиваются:

- Что, каково?

- Ах, отстаньте!..

- Что он опять?

- Да вот какую-то чуху выдумал: платье шить хочет!

Члены хохочут.

- Кому?

- Черт его знает-кому... Ничего не понял.

Пойдет в канцелярию и просит дело, - и какое ему нужно дело, сам не знает. Дашь ему какое-нибудь дело. Он подержит в руках, охнет и скажет: нет ли в архиве вот каких подобных дел?..

- Каких?

- Да чтобы там были проекты какие-нибудь...

Не поймут секретаря, смотрят на него, думают: чего же ему надо? А он сердится.

- Скорее! Ах, право! - И уйдет назад в присутствие. Пойдешь в архив, спросишь архивариуса, тот сам ничего не знает, так что если какое мне нужно дело, он отпирает архив и говорит: бери хоть все, черт с ними; а я почему знаю, какие такие у меня дела и где какое лежит?.. Пойдет секретарь сам к архивариусу и вернется ни с чем. Станет рыться в законах - и не найдет ничего подобного в законе, и зазовет двух-трех бухгалтеров, начавших службу с ним в палате с копиистов. Те кое-что смыслят и посоветуют ему самому сочинить проект, да спросить какого-нибудь советника, как лучше сочинить.

А таких проектов председатель много заказывал, и одни из них или забывались председателем, или сочинялись с помощью бухгалтеров и столоначальников через полгода.

Так и теперь; председатель задумал два огромных проекта: увеличить жалованье служащим палаты и ее ведомства и основать при палате сберегательную кассу. Кроме этого, он задумал наградить человек пятнадцать орденами и деньгами и выпросить в палату других советников. Два проекта были известны не только в палате, но и во всей губернии; в палате за это председателя прозвали взбалмошным и самодуром, а в губернии удивлялись его уму. Остальное он держал в секрете. Когда было все готово, председатель объявил, что он едет в Петербург и желает проститься со всеми чиновниками.

Раньше этого я часто советовался в разных делах с своим ближайшим начальником, Павловым, которого очень любил председатель. Он был человек неглупый, смыслил кое-что в науках, умел ловко осмеять кого угодно в палате и заинтересовать разговором кого угодно. Заехавши сюда из-за тысячи верст, потому что в палате служили его братья, он, по протекции их, скоро попал на должность помощника. Другую должность, повыше, ему пришлось бы долго ждать, потому что у советников были на примете люди, давно прослужившие в палате. Но вот приехал председатель; Павлову как-то раз случилось нести к председателю бумаги, Председатель хотел его срезать на словах, но Павлов был неробкий, сам закидал словами председателя и сбивал его фактами. С этих пор председатель так доверился Павлову, что не мог жить без него и постоянно с ним советовался. Павлов меня полюбил за честность и еще более за то, что я работал в палате за него, так как он ничего не делал, а был только чем-то вроде адъютанта председателя.

В палате я работал много, после обеда спал, потом пил чай полчаса и в это время дома занимался палатной работой. Читать приходилось только урывками. Станешь писать дневник - лень, из головы ничего не лезет. Попишешь-попишешь - и сходишь в питейную лавочку, выпьешь рюмку водки. Больше всего я боялся отупеть и сделаться дураком. Кроме этого, мне страшно опротивело губернское общество. Мне хотелось ехать в Петербург для того, чтобы поучиться и поумнеть. Каждую неделю я видел в городе приезжающих столичных жителей, и все эти люди очень хвастались тем, что они знают много такого, чего не знают в провинции. Ноне нравилось мне то в этих людях: приедет человек из столицы, задает всем шику, говорит

свысока "пожалуйста", "батюшка", "любезнейший" и тому подобное, рисуется, особенно коверкает свою походку, когда говорит, машет руками или делает ими такт к каждому слову и на все смотрит с презрением. Все эти манеры провинциалы перенимали от столичных, и слово "батюшка" вошло в поговорку начальников; и служащие стали коверкать походку и махать руками при разговоре, что выходило очень смешно. Провинциалы, уезжавшие в столицу по каким-нибудь делам, привозили домой много пыли; к ним стекались братья с товарищами, выспрашивали у них столичные новости и, по случаю приезда своего товарища, устраивали для него вечер. Мне не случалось бывать на таких провинциальных вечерах, и что там делается, я судить не могу. Но на гуляньях эти господа старались казаться какими-то иными людьми; для нас, молодых людей, живших только в одном губернском городе, они казались очень смешными. Мы имели знакомых человека два-три студентов, живших здесь исключительно уроками, и они нам кружили головы столичною жизнью: там настоящий Запад, там дверь в Европу, оттуда просвещается Россия; там только и можно жить образованному, умному человеку; там только и можно жить свободно, свободно мыслить и рассуждать, там всякому провинциалу можно поумнеть и найти настоящую дорогу.

- Но как жить человеку без средств?

- О, там можно найти какое-нибудь занятие, например уроки, службу в частных конторах. Бедному человеку там всякий помогает.

Были и другие советчики, которые говорили, что бедный человек там не пропадет и даже даровую пищу найдет, например, где-то у Демидова. Мне хотелось ехать в Петербург не для службы, а учиться, но у меня не было денег. Просить денег не у кого, и я думал, что в таком большом городе не скоро найду Частные занятия; учить... но чему я, провинциал, буду учить столичных?.. Смешно! - Все-таки я днем и ночью мечтал о Петербурге. Во сне я видел себя в каком-то большом городе, или собирался куда-то ехать. Стал я говорить о своем желании Павлову, тот смеялся надо мной и обещал мне выхлопотать в палате хорошую должность. Пошел я к председателю и высказал свое желание.

- А отчего вам здесь не живется?

- Надоело, учиться хочется.

- Вот глупости. Живите-ка, батюшка, здесь, а нечего глупости говорить... Ну, как вы там будете жить?

- Ведь живут же люди.

- А, вам советником хочется приехать сюда!

Он засмеялся и послал меня в палату. На председателя нечего было надеяться. Хотел я подать прошение о переводе в какое-нибудь министерство, но нашел это нелепостью. Пришлось служить в палате. И я решил, что, лишь только у меня будет сто рублей, непременно уеду в Петербург, а для этого и в отставку выйду.

Перед отъездом председателя чиновники собрались после обеда в библиотеку. Собралось их человек сто. Чиновники собирались только потому, что им приказывали собираться, и смешно было видеть эту огромную толпу разношерстных характеров в разнокалиберных костюмах. Все они как будто удивлялись и радовались, что собрались сюда, в одну массу, не для занятий, а для чего-то важного, и никто не сознавал здесь того, что и от него требуется частичка голоса, частичка знания. Каждый говорил, что хотел: один говорил о начальнике, другой смеялся над товарищем и проч. Вон какой-то служащий вытаскивает бумажку, на которой написано кем-то: "Смири, смири, смири, владычице", - и говорит: смотрите, что Крюков написал! Его окружают человек десять служащих и подзывают Крюкова, смеются над ним, что он перед началом занятий всегда пишет эти слова, чтобы не обращать внимание на

насмешки и больше сработать... Вон чиновники контрольного отделения состязаются с чиновниками отделения казначейства: вы что? - "А вы дрянь!" - "Вы взяточники, и советник ваш плут!" - "И вы хороши. Наш советник золото, славный человек". - "Чего вы толкуете! наш ревизский умнее ваших, и мы все умнее вас". - "Вот уж!" - и т. п. Все кричат, каждый стоит за свое отделение, готов драться, и каждый хочет высказать свои способности, свой ум, но не может: его перекрикивают. Хаос необъяснимый, и никто этим не обижается, только один сторож стоит в дверях и ухмыляется. Так вот и кажется, что ему хочется сказать: эх, их! всех бы связать на одно лыко да в воду спустить, а то, как люди, кричат о чем-то; сорят только погаными папиросками...

Но вот вошел в прихожую председатель с Павловым; сторож бросился к нему снимать шубу, в комнате вмиг все смолкло; писцы и помощники стали застегивать пуговицы у сюртуков, многие высморкались и стали к стене. Председатель вошел в комнату в вицмундире, на котором красовались четыре ордена. Он поклонился и расшаркался. Ему поклонились все, многие чувствовали неловкость.

- Садитесь, господа, без церемонии.

Советники, столоначальники, бухгалтеры и контролеры сели за огромный стол; писцы не двигались от стены.

- А вы?

Многие замялись, придвинулись ближе к стене, и никто ничего не сказал. Председатель и Павлов стояли у конца стола. Председатель взял сверток от Павлова и начал речь:

- Господа!.. Я вас собрал сюда для того, чтобы... как вам сказать... для того, чтобы заявить вам мою искреннюю, душевную благодарность в том благом деле, какое я, при помощи вашей, мог осуществить... Правда, мне много стоило труда пробудить вас от рутинного состояния, но я все-таки сделал вам кое-что...

Он остановился. Все смотрели на него, как на что-то особенное; многие ничего не понимали, человека два-три улыбнулись.

- Тут не над чем смеяться... Я надеюсь, вы останетесь мне много благодарны... Теперь, уезжая в Петербург, я хочу выхлопотать для вас много полезного, и если бог поможет мне, вы будете счастливы. Вот я хочу выхлопотать вам прибавку жалованья, хочу основать сберегательную кассу на социальных началах... Что вы скажете на это?.. Господа!..

Советники пошевелились, посмотрели друг на друга, столоначальники и прочие посмотрели на советников, писцы - кто в окна, кто на советников, - и никто ничего не сказал.

- Я вас спрашиваю, господа!

- Это, должно быть, хорошо, только тово... - сказал старший советник.

- Итак, я еду в Петербург и надеюсь много для вас выхлопотать. Но мне бы не хотелось служить... здесь; хоть и жаль, да делать нечего... А может быть, я приеду назад... Прощайте!

Он поклонился и пошел назад. Кто-то сказал ему вслед: покорно благодарю. Павлов обиделся за собрание и сказал:

- Что же вы, господа, не поблагодарили его?

- За что?

- Как за что? А библиотека разве худое дело?

- Тебе она хороша - ты библиотекарь, да еще с ним едешь, ну, и благодари, - сказал один бухгалтер. А другой бухгалтер еще лучше выразился:

- А я думал, что он водкой нас угостит перед отъездом; а то, вишь ты, проститься захотел! Невидадь какая...

Над этим все рассмеялись громко, и все, недовольные чем-то, разошлись по домам, говоря, что председателю кто-то сочинил речь, да и тут-то он не умел ее хорошенько сказать. Только потревожил их напрасно, а то спали бы себе славно...

Когда председатель уехал с Павловым, я чувствовал в палате какую-то пустоту, чего-то не доставало в палате. А не доставало двух людей: председателя, который кричал и мучил служащих, и Павлова, который развлекал служащих своими разговорами. Мне стало досадно, что они уехали, а я должен киснуть в этом городе.

После отъезда председателя палата словно повернулась вверх дном. С первого разу бросился в глаза беспорядок, а потом для служащих настал какой-то праздник; один только секретарь по-прежнему работал как вол, чуть не за всех советников. Одним словом, безначалие началось страшное: каждый советник делал, что хотел, и не слушал другого; дела стали запутаться, чиновники начали пьянствовать; хотели окончательно закрыть библиотеку.

Так продолжалось два месяца, и о председателе все забыли; даже секретарь, который, как ни старался вразумить советников, что надо делать, - махнул на все рукой и стал меньше заниматься. Работы в канцелярии было много, и так как я исправлял должность протоколиста и хранил ключи от шкафа с делами канцелярии, то секретарь часто посылал за мной.

Раз у меня после обеда были гости, и я сам был выпивши. Прибегает сторож и говорит: секретарь зовет сию минуту, с ним неловко что-то... Прихожу я в присутствие. Секретарь сидит бледный, дела разбросаны по полу. Я думаю: не сходить ли за доктором?

- Батюшка, Петр Иванович, помощи - пропали...

- Что так?

- Ах, беда-беда!..

И секретарь закрыл лицо руками.

- Да что такое?

- Ревизор ведь едет, завтра... ночью будет... - И он вытаращил на меня глаза. Меня покорило, но в голове блеснула мысль: я в Петербург буду проситься...

- Вот я письмо от председателя получил... Накликал на нас беду!.. Пишет: уж ревизор уехал... Ах, оказия!..

- Так что же? У нас все хорошо, разве что в других отделениях...

Это его успокоило, но не совсем.

- Ох, не говорите! Что у нас хорошего-то? Ах, пропал я! Где Кириллов?

- Он на заводе.

- Ах, как бы за ним сходить?

- Да сегодня воскресенье: он, я думаю, в лесу, а идти-то четыре версты.

Он никогда не заглядывал в шкаф. А в шкафу дела лежали как попало, и их мог найти только я один. Описи у нас не было. Я съездил на завод и привез вольнонаемного писца канцелярии Кириллова, сильно хмельного. С ним и с секретарем я провозился до пятого часу утра, перебирая дела, которые были в большом беспорядке.

Такого сюрприза, как ревизор, да еще от министра, никто не ожидал. Для секретаря это было просто какою-то смертью с острую косою, и он думал, что его непременно отдадут под суд, тем более что он никогда не видал в палате ревизоров. Вся жизнь его была трудная, особенно когда он сделался секретарем, - поневоле растеряешься. Целый месяц мы приводили дела в порядок и кое-как настроили их, зато перепутали бумаги, отшив их от одного дела и пришив к другим, и в канцелярии остановилось текущее делопроизводство. Хорошо еще, что ревизор долго заставлял ждать себя.

Когда секретарь, на другой день после получения председательского письма, объявил в палате о ревизоре, прибавив, что ревизор человек строгий, что где он ни ревизовал, везде, как саранча, оставил после себя следы, - то многих так поразила эта весть, что они захворали. В городе заговорили все, что наконец-то и на казенную палату придет строгий судья, и этот судья поразит и разорит до основания всю палату. Наконец советники пришли к тому заключению, что беду надо как-нибудь поправить; взятку ревизор не возьмет, нужно дела привести в порядок, но их очень трудно было приладить.

- Ты что, приготовился? - спрашивает бухгалтер контролера.

- Наплевал бы я... Есть мне когда!

"Хитрит - думает бухгалтер, - погоди, как он тебя вздует! Вот меня так не за что, у меня все на отличку".

- Я, брат, как приедет ревизор, в больницу уйду, - говорит столоначальник столоначальнику.

- Ну, и шалишь. Ты в больницу - и я в больницу; а под суд - так обоим под суд.

- Ну, нет. Я уж охлопотал это дело в канцелярии...

Столоначальники возненавидели столоначальников, бухгалтеры издевались над бухгалтерами, - словом, все ожесточились друг на друга, завидовали, желали, чтобы собрату было хуже; но все-таки каждый боялся за себя. Больше всех трусил секретарь, и над ним издевались бухгалтеры, и он над ними.

- Вы не бойтесь; мы видели всякие ревизии: ревизоры только пугать умеют.

- У вас все так! А как будет туго, вы и заскачете горошком.

- Неужели вы боитесь?

- Если бы можно, я бы в отставку вышел.

- Да вам-то чего бояться?

- Как чего? скажет: ты - секретарь, ты чего смотрел? Вот и служи!.. Тридцать три года прослужил, да как под суд отдаст!

Секретаря все любили и соглашались с ним, что дело действительно дрянь.

Я с нетерпением ждал приезда ревизора. Как приедет он, думал я, погляжу, что это за штука такая: если молодой да ласковый, я буду просить его, чтобы он перевел меня в Петербург; если он старик и злой, я напишу ему прошение - и все-таки буду проситься. Что будет, то и

будь!.. И эта мысль не давала мне нигде покою, но я ее никому не высказывал.

Ревизора ждали два месяца, но он не изволил являться; не приезжал и председатель. Все палатские чиновники, кроме секретаря, решили, что ревизор не будет.

Наконец приехал председатель, объявил по отделениям, что ревизор будет на днях. Приехал и Павлов из отпуска.

Была суббота. В этот день мне следовало дежурить, но я нанял дежурить другого служащего из вольнонаемных, а сам ушел к Павлову. У Павлова я изрядно напоздравлялся и о палате совсем забыл. Вдруг пришел к нам сторож и объявил, что в палату приехали три ревизора и Павлова зовет председатель. Зашел я в палату; там уже было в сборе пол-палаты служащих. Секретарь бегал, бесился, распекал всех и особенно меня. Но я плохо понимал, что там происходило, - мне спать хотелось. Помню только, что столоначальники и прочие подначальные начальники были сами не свои. Дал мне секретарь переписать что-то: я наврал. Он обругал меня и велел снова переписать; я улизнул домой и лег спать. Утром мне говорили, что секретарь два раза посылал за мной, но меня не могли добудиться, и хозяин решил только отдать сторожу ключи от шкафа.

На другой день в палате все служащие были в сборе с десяти часов; из них многие пришли даже часу в шестом. Все трусили. Советники велели всем застегнуть сюртуки наглухо, причесать волосы и чем-нибудь заняться. Председатель сам осмотрел служащих и делал замечания: одному - "у тебя волосы длинные"; другому - "брюки прорваны"; - третьему - "двух пуговиц форменных недостает"...

Наконец пришел ревизор, низенький, старый, вострый человек; с ним были два помощника. Он важно оглядел стены, служащих, расспросил о столоначальниках, отдал предписание, велел написать ему ведомости о числе дел и бумаг, важно прошелся по всем отделениям и назначил ревизию с завтрашнего дня.

Можно представить себе, в каком неопisanном ужасе были столоначальники, и прочие господа; они просто тряслись от испугу.

- Вот он, дьявол!

- Да! Отгуляли, черт возьми!..

Не зная, что делать, они отпирали шкафы. Отворят шкаф и смотрят: как взяться, с которой полки? черт его знает, какое дело он спросит. Знал бы да ведал, вот это бы привел в порядок... Вытащит человек дело, посмотрит на него, сделает плачевный вид, поскоблит на листах кое-что и бросит его назад. Так прошло время до вечера. Всем хотелось отличиться перед ревизором, но как и чем? Мучило всех еще то: с какого отделения начнет он ревизию? А мучило их это потому, что, поначалу, на это отделение он сильно нападет, а потом ему скучно сделается, и он уже нехотя будет ревизовать. Один столоначальник подал прошение в отставку, двое - бухгалтер и контролер - прислали рапорты, что они нездоровы...

Началась ревизия с питейного отделения. Прочие отделения успокоились, поздравили наивно питейных с ревизией и занялись прилаживанием своих дел. К счастью их, что ревизор ревизовал целый месяц одно питейное отделение. Питейные столоначальники говорили, что он просто ест их, но столоначальники были люди храбрые, кончившие курс в гимназии, и свое дело хорошо знали. С ним и ему легко было возиться, и они на каждый его вопрос отвечали беззастенчиво. Он вел себя очень любезно со всеми, помощники его были тоже вежливы. Но когда он стал ревизовать другие отделения, то там открылось много беспорядков: столоначальники не знали, что говорить, терялись, косили не те дела, тряслись; тут-то ревизор и показал себя! Кричал, срамил их на всю палату... Таким порядком он ревизовал палату три месяца, и в это время мучил чиновников своими допросами, старался всячески



открыть какое-то зло.

Ревизору нужен был переписчик, но в провинции трудно найти такого переписчика, который бы умел скрывать секреты. А секретарь любил меня за то, что я, когда переписывал секретные бумаги, никому об них не говорил. Раз я переписал бумагу; ревизору понравилось; он похвалил меня за то, что я пишу правильно и разбираю его почерк, и он избрал меня переписчиком. У ревизора мне случалось бывать часто, и мне каждый раз хотелось высказать ему свое намеренье, но все не удавалось.

В это время приехал ко мне дядя с теткой. Дядю назначили почтмейстером, и он проездом остановился у меня. Раньше, задолго до его приезда, я писал к нему письма, в которых я звал его к себе в гости. Раз как-то он приезжал в губернский город, пришел ко мне на квартиру, но меня не было дома. Он отыскал-таки меня на рыболовстве и сделал выговор за то, что он не застал меня. В письмах своих он постоянно упрекал меня в какой-то непочтительности к воспитателям; я ему отвечал длинными письмами. Переписка шла между нами каждую неделю, - благо письма отправляли даром.

По обычаю, мне следовало их обнять, как только они вышли из повозки, но мне показалось это глупостью и унижением. Кое-как они вылезли из повозки, тетка заплакала - вероятно, от радости, дядя улыбался. Они имели такой вид в это время, что я сравнил их с деревенскими жителями.

- Вот и гости, Петр Иваныч! Примете ли вы своих воспитателей? - сказала тетка ласково, но и как-то ядовито. Впрочем, в голосе ее слышалось какое-то горе, на лице отразилось болезненное состояние. Мне жалко ее стало.

- Отчего же не принять, я рад вам.

- То-то. Уж не женился ли? - и она улыбнулась.

- Да если бы и женился, так жена будет рада вам.

- Все же...

Дядя улыбался, моргал глазами, лез обнимать меня и говорил: у, ты, мой миленькой! Я заметил, что он был выпивши.

Когда они вошли в мою комнату, то тетка заметила: вот вы где поживаете! как же вы живете-то здесь? Казалось, этими словами она выражала свое самолюбие: я ведь почтмейстерша...

- По-моему - ладно.

Дядя целовал меня, высказывая, что он радуется, во-первых, тому, что я служу хорошо и получаю порядочное жалованье, а во-вторых, ему показалось, что я его встретил любезно.

Тетка разделась, развязала узелок; вытащили перину и сундук. После осмотра вещей и удостоверения, что все цело, она села и сказала:

- Не знаешь ли, Петр Иваныч, где бы мне купить косу к голове?

- На что?

- Да как же! Теперь ведь я почтмейстерша, надо будет с визитами ехать, а у меня волосы почти все вылезли; скажут: какая это чумичка, почтмейстерша-то! Срам... Они ведь модницы, осмеют.

Это она говорила тоном особенного достоинства, которым хотела удивить меня: теперь, мол, я сама начальница, и потому надо, чтобы в моей наружности все было хорошо. Я молчал.

- Да вот еще чепчик к ночи надо купить. Я сказал, что я не знаю, где продают такие вещи. Стали пить чай.

- Ну, как ты служишь? - спросил меня дядя.

- Ничего, хорошо.

- Ну, и ладно. Не служи только, как отец твой служил... Главное, будь к начальству почтителен.

- Да начальство-то всякое есть.

- Ну, все же... Ты знай, что если палочку поставят, да велют кланяться - и поклонисься.

- Ни за что. Ведь вы тоже не поклонитесь?

- То я, то ты. Я, слава те господи, послужил, а ты еще только в люди вышел.

- У нас теперь ревизор, и если бы вы были на моем месте, то убедились бы в том, что все наши начальники - дрянь.

- Ты этого не говори... Мне можно говорить, а ты - молод. А ты вот лучше к ревизору подделайся.

- Я у него часто бываю.

- Вот и прекрасно. Попроси, чтобы он тебе должность дал.

- Я думаю, он сам даст.

- Ну, и надейся! Под лежачего и вода не побежит, говорит пословица. А ты, как он даст тебе хорошее место, попроси его, чтобы он определил меня казначеем.

- Я и сам-то еще не знаю, даст он мне должность, или нет. Да мне и не хочется просить у него должности.

- Ну, и дурак, значит. Ты пойми, что я стар. У меня только на тебя надежда... А как ты должность получишь, старайся деньги копить да чин получить - это главное. Потом я тебе невесту найду богатую... Ты, брат, заживешь - чудо. И мне будет любо; всем свиньям буду говорить: что! какого я племянника воспитал, а? - Дядя был очень весел. - Ну, поцелуй меня! - Я поцеловал его. Тетка обиделась.

- Что же ты меня-то не поцеловал! И обнять не хотел, как мы приехали... - проговорила она.

Я поцеловал тетку, но это показалось ей неискренним, Она обиделась больше прежнего.

- Уж больно ты умен стал! Другую, верно, вместо меня, нажил.

Мои воспитатели гостили у меня только два дня. Дядя ходил в губернскую контору не иначе как в мундире, с шпагой и в треуголке, старался переделать свою походку по-губернски, махал руками, начинал говорить свысока, но все выходило у него как-то смешно. Я заметил, что он занимался туалетом больше, чем прежде: мылся дольше, мазал волоса помадой и больше прежнего ругал начальство. "Теперь я почтмейстер, сам начальник! Мне давно бы следовало быть почтмейстером, а они все трясли с меня деньги. Да и теперь турнули меня вон куда..."

- Теперь вы отдохнете. Там только один раз в неделю набор, и один раз почта приходит.
- Да жалованья-то мало: всего одиннадцать рублей. А разве я того заслуживаю?
- Все-таки вы теперь хозяин.
- Да я теперь, должен быть первый в городе. Я этим судьям да городничим плевать буду. Они все теперь мне должны кланяться.

Тетка не храбрилась, но она держала себя как-то вяло, мало сидела, больше лежала и, лежа, думала. Я замечал ей, что она там будет большой барыней, - она осталась довольна этим.

- Слава тебе господи, что я почтмейстерша! Не последняя же я какая-нибудь... Право!
- Вам нужно ладить с тамошними барынями.
- Мне-то?! Ни за что! Первая ни за что никому не поклонюсь! Да я и дома все буду сидеть; где мне, старухе, знаться с модницами? их, поди, много там.

Дядя купил ей косу и чепчик. Она приладила это на голову; и в каком восторге она оглядывала себя в зеркале!

- Ах, как идет!
- Не очень.
- Ты ничего не знаешь. Ты женись наперед; попадется жена модница - утрет тебе нос!
- Да это-то к вам нейдет!

Она посмотрелась в зеркало, чавкнула губами от удовольствия, улыбнулась и стала еще старательнее охорашивать свою голову. В этом наряде и надевши хорошее шелковое платье, она пошла к почтовым. Шла она странно, точно кто толкал ее вперед: шагнет раз пять, не покачнется, словно пава какая; ветер ее толкнет вперед, то набок, и пойдет она скоро, переваливаясь с боку на бок. Пришла она домой недовольная.

- Смеются надо мной, скоты, что я почтмейстершей стала.
- Что так!
- Платье, говорят, у вас хорошее, чепчики, говорят, вы нынче носите.
- Вам бы приличнее шляпку надеть - здесь ведь губернский...
- Я - почтмейстерша, мне чепчик приличнее носить.
- У, дура; я говорил тебе: надень шляпу, - так нет. Ну, кто ходит по улице в чепчике? - сказал ей дядя.
- Да ведь я платком закидывалась. Все смеются, а нет, чтобы радоваться.

Дяде и тетке не понравилось жить у меня. Им показалось, что я не рад им.

- Нет, какой ты племянник!
- Я вам готов всем угодить, но если я не имею много денег, чтобы угостить вас богато...
- Не угостить, а ты косишься. Ишь, учен больно стал. Почитайте, говорит, книжку, а мне на службу надо. Плевать мне на твои книги! Ты брат, мигнешь, а я все вижу. Нет, брат, - я уеду и

больше ни ногой к тебе, - говорил дядя.

Перед отъездом я сказал дяде:

- Мне хочется ехать в Петербург.

- За каким лешим?

- Служить хочу.

- А здесь тебе еще не служба?..

- Я там доучиваться буду.

- Доучиваться! А меня ты знаешь?

- Здесь я не могу доучиться, а там к этому больше возможности...

- А! тебе не нравится с нами жить. Ишь, дядя стар стал, так и не мил больше? Черт с ним, издыхай он, а я, мол, и знать его не хочу... Бессовестный ты эдакой! За это, знаешь, тебя отодрать нужно хорошенько.

- А если я, выучившись, сделаюсь хорошим человеком, могу тогда больше и лучше помогать вам.

- Ну-ну!.. Служи-ка, брат, на одном месте; ты знаешь: камешок на одном месте обрастает.

"Ну, - подумал я, - с ним толковать не стоит. Стань его уговаривать, он хуже озлится". Но все-таки мне не хотелось ехать без его согласия, иначе он будет думать, что я обижаю его. Я замолчал, а он стал мне рассказывать свою тяжелую жизнь, как он из почтальонов сделался почтмейстером, никому не кланяясь, что и все его товарищи, никуда не ездя, дослужились хороших мест и теперь благоденствуют. Я представил себе положение дяди и то, что он рассчитывал на меня в будущем, и это он отчасти сам говорил мне. Вот ревизор сделает меня бухгалтером в палате, рисовал он мне мое будущее, - все мне буду кланяться; сердце дядино будет радоваться, когда он увидит меня бухгалтером: "Такой молодой - бухгалтер! Вот значит, ты умный человек. Все твои сочинения гроша не стоят против такой должности. Женишься ты на секретарской дочери, чин и дом получишь... Казначеем тебя сделают! Ишь ты! мой племянник казначей, а я почтмейстер! а? - и дядя щелкнул языком. - Вот я и буду радоваться да казать всем фигу: каков, мол, я, черти вы эдакие... А то, ишь ты, выдумал в Петербург, учиться вздумал..."

- Ну-с, я буду казначеем, а потом что?

- А какого тебе черта нужно?

- Я совсем оглупею тогда, да еще детей, дураков, наделаю.

- Ты мне этого не говори. Ты сам глуп - и больше ничего. А если ты будешь туда проситься, то не знай больше меня, и я тебя знать больше не хочу! Черт с тобой!

"Ладно", - подумал я и, проводив дядю, решил, при первом же удобном случае, поговорить об этом предмете с ревизором.

Как человек робкий, я боялся высказать ревизору на словах свое желание и поэтому написал ему письмо, в котором подробно изложил свое желание ехать в Петербург, и для удостоверения того, что я умею сочинять, я предлагал ему прочитать какую-нибудь свою драму. Ревизор прочитал письмо при мне и при чтении несколько раз улыбался.

- Так вы сочинитель? - спросил он меня и сам засмеялся.

Я покраснел.

- Что краснеете? Вы драматический писатель? Ха-ха-ха!..

Я осердился; мне обидно сделалось. Ну, думал я, - что я наделал?..

- Я вам скажу, что сочинители все ни к чему не годный народ... Впрочем, я вас испытаю. Приготовьте мне через две недели рекрутский устав.

- Очень хорошо.

- Я вас проэкзаменую. Ступайте!

Когда я выходил из комнаты, то слышал, как он хохотал, рассказывая своему помощнику про меня.

Мне сделалось досадно, что я написал ему это письмо.

Когда я сказал товарищам, что ревизор велел мне приготовить рекрутский устав, они заговорили: ну, брат, должность он тебе хочет дать... экое, подумаешь, счастье людям... Стал я читать закон, - плохо понимаю; иные статьи вовсе не понимаю, да и читать много некогда. Дел под руками не было, посоветоваться не с кем, и я не знаю, о чем меня будет спрашивать ревизор. Пришел я к нему храбро, думая: если он обругает меня и не согласится перевести в Петербург, я поступлю на должность по пароходству, куда приглашали меня за тридцать рублей в месяц. Ревизор спросил меня:

- Вы читали рекрутские дела?

- Нет.

- Отчего же вы не читали?

- Вы велели мне читать закон, а дел мне, без вашего разрешения, никто бы не дал.

- Вот вам два дела. Ступайте в ту комнату, прочитайте и скажите: как, отчего и почему?

Рекрутские дела у меня никогда не бывали в руках; о рекрутском уставе я не имел никакого понятия. Прочитавши закон, я узнал очень немного, но, вероятно, столько же, сколько и он знал. Теперь мне попались дела уже решенные, и я должен сказать о них свое мнение: похвалить палату или нет. Дела были маленькие - на десяти-двадцати листах. Читал я их два часа и путался на докладах, сочиненных тяжелым канцелярским слогом; мне казалось, что палата сделала верно, по крайней мере, так выходит по-человечески, да и в законе так же писано. Я решился сказать, что дела решены правильно, и угадал. Но ревизор хотел сбить меня с толку некоторыми канцелярскими неправильностями, разными расспросами и указаниями на статьи закона. Я хотя и отвечал неповоротливо, но попадал на что следовало.

- Теперь я вижу, что вы читали закон, кое-что смыслите... Вы хотите ехать в Петербург, а не знаете, что это за город... Вы представьте себе, что ваш Орех, в сравнении с Петербургом, - дрянной угол, деревня; там один квартал больше вашего города. Вы мечтаете, что вы гений. Удивительно! Да вы и доклада хорошенько не в состоянии сочинить, не только что печатать ваши марания. Получше вашего брата сочинители там голодают.

- Перепиской я никому не принесу пользы.

- Врете, отечеству принесете пользу.

- Себе я приношу только пользу, - ту, что я получаю жалование как переписчик; а переписываю я не отечеству, а людям обыкновенным, как и я.

- Вот вы и вольнодумствуете. Знаете, что с вами за это можно сделать?

Много он говорил мне о том, как трудно жить в Петербурге бедному человеку, и что я, желая ехать туда, возмечтал о себе очень много. Наконец, видя мое смирение, он сказал, что примет во мне участие, переведет, но с условием, если я не буду там сочинять; в противном случае он не переведет. Чтобы подумать об этом, он дал мне сроку десять дней.

Думать мне было нечего, потому что если он согласился меня перевести, то гораздо лучше будет для меня, если я скажу ему, что я сочинять не буду. Так я и сказал.

- Ну, и хорошо. Я вас переведу и принимаю в этом участие, как отец. Вы там будете одинокий человек, соблазна будет много. Но помните, что там надо трудиться, а вы с чистым почерком найдете работу. Кроме департамента, вы можете заниматься в квартале. Там дадут вам рублей восемь. Через два года я сделаю вас помощником столоначальника... Главное, почитайте меня, ласковы будьте с служащими и не глядите исподлобья на начальников. Понимаете?

"Вероятно, - думал я, - чиновники там почище здешних. Уж если ревизор рассуждает так, то что хорошего можно ожидать от его товарищей?" Однако я очень радовался, что ревизор дал мне слово перевести меня, и сказал об этом секретарю. Тот был тоже рад и, с своей стороны, не утерпел, чтобы не сказать обо мне чиновникам. Вся палата узнала об этом.

- Что, брат, советником захотелось быть?

- Ишь, несидячая пташка!

- Смотри, коли ревизором будешь, не забывай своих товарищей: пирог сделаем, - говорили старики.

- Где ему... Он хоть похвастает.

- Верьте вы ему!

- Чего верить? всякий на его месте получил бы то же.

- Счастье этим дуракам... Дурацкое это счастье, - завидовали молодые.

- Молчи, - сочинитель... Ужо он нас опишет, - говорили те, которые не любили меня.

После этого ревизор скоро уехал. Мне опять сделалось скучно. В надежде, что я, может быть, скоро уеду отсюда, я невзлюбил палату сильнее прежнего. Мне казалось, что я уже доживаю здесь последние дни; работа не шла на ум, книги плохо читались; я только и думал о Петербурге; как я приеду туда, как я буду жить, каково-то мне там будет... Ах, как бы скорее уехать туда! Но дни шли за днями, шли месяцы; город все более и более казался противным... В палате я уже гордился, важничал над писцами, капризничал, думал: погодите, уеду же я от вас, досадно вам будет, проклянете вы мое счастье, потому что всем вам хочется хоть одним глазком посмотреть на Петербург...

- Ишь, как переваливает! А тоже свою персону показать хочет, - издевались надо мною.

- Нат, мол; еще моей персоны не доставало...

Прошло три месяца со времени отъезда ревизора, и об нем в палате все забыли. Сначала, как водится, все перекрестились, пожелали ему всяких чертей и болезней, пождали два

месяца - не сменяют ли какого-нибудь советника с должности, не отдадут ли кого-нибудь под суд. Но ничего особенного не случилось, и чиновники вошли в прежнее состояние, дела начали совершаться по-прежнему. Но вот на четвертый месяц получили в палате запрос от министерства. Запрос большой. Чиновники общими силами написали ловкое объяснение. Отослали его и сказали: "Знай наших!" - и сделали пирушку... Через неделю после этого одного советника перевели в другую губернию, председателя причислили к министерству. Чиновники сказали, что ревизор щупает старших, и стали ждать себе беды. Поругали на прощанье самодура председателя, и на прощанье собрали по подписке денег и поднесли ему подарок. Секретарь получил орден, одного бухгалтера сделали советником, двух столоначальников отдали под суд, и начался скрежет зубов у чиновной палаты. "Погодите, еще не то будет!" - говорили одни. "Он нас всех приберет!" - говорили другие. Наконец и я получил письмо от ревизора, которым он уведомил меня, что я могу теперь подать прошение в такой-то департамент и ехать, когда будут требовать от меня формулярный список. Служащие завидовали мне больше прежнего еще потому, что видели письмо ревизора, и напрашивались на поздравку. Одно было только сомнение, это то - если там вакансию заместят другим чиновником, не дождавшись моего прошения? Все-таки я надеялся на перевод и с каждой почтой ожидал из Петербурга запроса от департамента на мое прошение. Я написал дяде, что буду служить в министерстве и через ревизора могу выиграть по службе много. А еду я на свои деньги, которые я получу от лотереи. В эту лотерею я задумал разыграть старые книги и подаренные мне дядей часы. Предполагалось получить сорок рублей, да жалованье. Ехать было можно; даже я рассчитывал эти деньги употребить на поездку назад, если меня, по какому-нибудь случаю, не переведут. Дядя все-таки злился и стал писать ко мне реже.

Прошло четыре месяца, и о моем переводе не было и слуху. Чиновники сначала очень интересовались моим переводом; потом стали смеяться надо мной.

- Что, брат, верно, подлил только? - Ты, поди, теперь славно поживаешь! - Не езд, брат, послужи с нами. Пословица говорит: везде хорошо, где нас нет.

И это продолжалось каждый день. На лотерею никто не подписывался. А тут повторилась старая история, которая едва-едва меня не задержала и не оставила навсегда в Орехе.

Как-то я шел из палаты. Вдруг попадается мне старая знакомая, Степанида Кирилловна. Она была жена станционного смотрителя и часто прежде ходила к матери Лены, жила около них и постоянно пьянствовала.

- Здравствуйте, Петр Иваныч! - сказала она.

- Здравствуйте.

- Давно не видались, сударик. Елену Павловну не видали?

- Нет. А что?

- Да она ведь овдовела...

- Так что же?

- Экой злодей... Ведь вы же жених были!

- Так что же, что жених? Ведь она все-таки вышла замуж, и между нами не было очень близких отношений!

- Ну-ну, полноте. Овдовела, бедняжка! Такая жалость. Мать при смерти.

- Что так?

- Да водку все пила - водянка сделалась. Проведайте.
- Ловко ли это будет?
- Ничего, право. Пойдемте теперь!
- Теперь я не могу, потому что сплетничать, пожалуй, станут.
- А вы не женились? Я слышала, вы в Петербург собираетесь.
- В Петербург еду, а не женился.
- Ну, вот и женитесь.
- Вы, Степанида Кирилловна, передайте только Елене Павловне и ее мамаше, что я бы зашел к ним, да, понимаете, неловко. Если это не будет неловко, то пусть они известят меня.
- Она ушла.

"Зачем я сказал это? - думал я, - если я пойду к Лене, то опять пробудится моя страсть, опять я буду думать о ней, и она обо мне. Теперь она женщина, испытавшая супружескую жизнь, знает все приемы этой жизни, потому что около года была замужем. Опять эти ласки и заискиванья... И зачем эта баба встретила со мной и наговорила мне столько вздору?"

Через день я получил от Лены записку. Она писала, что мамаша ее рада видеть меня и даже что-то хочет сообщить мне важное.

"Что же это такое важное хочет сообщить мне ее мать? - думал я всю дорогу. - Уж не замуж ли за меня она хочет спихнуть свою дочь? Покорно благодарю".

Квартира Лены заключалась в двух комнатах с кухней; другую половину дома занимала свекровь с сыном-чиновником и дочерью, девицей годов пятнадцати. Лена сидела около больной матери своей и утирала глаза платком. Мать лежала бледная и постоянно кашляла.

- Ах, как я вам благодарна, голубчик! Здравствуйте, Петр Иванович! Садитесь. Ох! - И она закашлялась.

Лена тяжело вздохнула. Кажется, ее давило какое-то горе. Она мне поклонилась и подала руку. Рука была холодная.

- Давненько мы с вами не видались, - проговорила мать.
- Да, целый год.
- А сколько перемен-то! Вот Лена замужем была, ребенка недавно схоронила. Ну, да бог с ним; успел и муж умереть.
- Что же он, больной был?
- Чахоточный... Ну, а вы как поживаете? Поставь-ка, Лена, самовар.

Лена ушла ставить самовар, а мать ее начала рассказывать о себе и муже Лены.

- Вы не поверите, Петр Иванович, какая моя жизнь проклятая, - просто мученье, да и только... Еще когда он был жив, я захворала; вот теперь пятую неделю не встаю с кровати, ноги отнялись, пухнут... Кашель проклятый смучил. А все, будь оно проклято, с водки... Пить бы не надо. И вы не пейте.
- Я пью, да так, балуюсь.



- Ох, вредно, родной! Ну, как ваши?

- Ничего. Почтмейстером теперь...

- Ну, слава богу. О чем я говорила-то?.. Вот и память всю отшибло...

- А каков был муж Елены Павловны?

- Ах, и не говори! Сначала такой славный был, только кашлял постоянно. Не рада я, что и отдала ее за него. Дура я, дурища...

- Что же делать!

- Да-да, воля божья! Такой знаете ли, капризный, пьющий; все ее, бедную, бить лезет. Ну, и вступишься. Он-то еще ничего, бог с ним, Леночку любил, одевал хорошо, и меня не обижал, а вот мать его - просто змея. Эдакой я в жизнь свою не видала... Я вот тоже поколачивала Лену, - так маленькую, на то я родная мать, а то она, ехидна, скупая-прескупая, всем ее попрекать стала, и меня туда же. Целый день крик.

- Ты, шлюха, опять самовар ставишь! - закричала какая-то женщина в кухне.

- Я свой ставлю, - слышался нежный голос Лены.

- Я тебе дам! Ты сходила по воду-то? Твои дрова-то?

- Да гость к маменьке пришел!

- Я тебе дам - гость! Всяких шалопаев принимаешь, всякой дряни самовар ставишь! Не смей угли брать!

- Я лучинкой достану...

- Ах ты шлюха! Ах, господи, нет у меня ног-то, а то я бы тебе задала! - сказала громко, через силу, мать Лены.

В дверях показалась женщина лет сорока восьми, толстая, румяная.

- Докудова это вы будете командовать! Завтра чтобы час не было! - закричала эта толстая баба.

- Я тебе дам! - прошипела мать Лены.

- Что-о?

- А вот тебе! - И мать Лены плюнула на толстую женщину. Мне становилось неловко от этой сцены.

- А ты кто такой? - вдруг спросила меня толстая женщина.

- Я пришел к Анисье Васильевне.

- А! не успел муженек-то умереть, она и женихов подзывает! Так вот же вам! - И она, сдернув с гвоздя висевшее шелковое платье Лены, утащила его.

Мать озлилась; с нею сделался нервный припадок.

Пришла Лена, заплакала.

- Чей это дом?

- Свекрови... Она вот уж вторую неделю гонит нас.
- Что же вы не едете? Эдак она измучит вас.
- Куда ехать, Петр Иванович?
- Отправьте мать в больницу, а сами на квартиру съезжайте или к родственнице.
- Неловко маменьку оставить, она не может жить без меня. Мать очнулась. Я ей посоветовал уехать в больницу.
- Я это хочу, да боюсь, - уморят.
- Там вам спокойнее будет.
- Похлопочите вы, ради бога, а ее пошлю к родственнице.

Эту родственницу я часто видал. Она была вдова, получала большую пенсию и, кроме этого, имела свой дом; но она была скупая женщина. Отправился я к ней; она сказала, что у нее негде жить Лене. Я сообразил, что, нанявши квартиру, Лене неловко будет жить одной, без матери, жить работой, да и работы скоро не найдешь. Оставить их тут долее не было возможности. Я решился найти им квартиру. Квартиру эту я нашел им недалеко от своей квартиры - две маленькие комнатки за два рубля в месяц, с тем чтобы стряпать за эту же плату в хозяйской кухне. Когда я сообщил это матери Лены, она очень осталась довольна.

Таким образом, мне привелось устроить Лену и мать ее. Но чем им было жить? Без работы им нельзя было жить; да к тому же матери нужно было покупать лекарства. Я дал им своих пять рублей и советовал что-нибудь заложить, когда понадобятся деньги, потому что своих денег у меня больше не было.

В палате узнали про это и стали смеяться надо мной.

- Смотри-ка, петербургский-то выходец шпигуется! Любовницу на содержании держит.
- Ай да хват! Даром что смиренный, а свое дело знает...

После рассказанного случая здоровье Лениной матери становилось все хуже и хуже. Каждый день я ходил к ней, и каждый день она становилась ко мне ласковее прежнего. Лена радовалась, когда я приходил, и мне часто доводилось говорить с ней, но мы говорили только о ее скверном положении.

Раз я пришел утром. Мать спала. Лена читала книгу. Я подошел к ней; она улыбнулась, весело поглядела мне в глаза и крепко сжала мою руку.

- Как вы добры, Петр Иванович, - сказала она нежно, голос ее дрожал. Мне неловко стало от этих слов. Я понял, что она или любит меня; или расположена ко мне более, чем к другим. В это время я привязался к ней более прежнего. Но теперь я уже крепко держался тех убеждений, какова должна быть моя жена; а Лену я понял так: она была смиренная, любящая женщина; она в жизни много перетерпела горя; и теперь для нее настает тоже незавидная жизнь. Как бы худа ни была мать, но она жила все-таки под покровительством ее, потому что, при ее неразвитии и неумении жить самостоятельным трудом, ей плохо придется жить одной. В провинции работы для женщины мало: нашъешь и навяжешь немного, плату за это дадут небольшую, да и таких рабочих женщин, которые бьются из-за куска хлеба, много, очень много, и все они не жалуют свою работу. Идти в услужение тоже ей не под силу, во-первых, потому, что хотя она и умеет стряпать и печь, мыть и мести, но все-таки она не привыкла к этой работе, во-вторых, ею будут помыкать, попрекать ее станут чужим хлебом, назовут еще белоручкой, да и от лакеев ей не будет спуска; она или выйдет оттуда развращенной, или

сбежит, не вынеся тяжелой жизни; в-третьих, ей все-таки не дадут хорошего жалованья. Учить детей она не может, быть нянькой - ей тоже незнакомое дело, да и в чиновный дом ее не возьмут, потому что жены будут ревновать к ней своих мужей. Да, положение такой молодой женщины гадко в провинции. Ведь нужно же было умереть мужу, да еще издыхать матери! Имей она свой или материн дом, она могла бы получать кое-что с квартиры, и на нее все-таки никто бы не указал нахально пальцем. А то сколько мать ни работала для нее и для себя. Все было съедено и пропито; осталось только несколько посуды и платьев старых, да еще немного приобретено от мужа. Остается выходить замуж.

Прошел месяц. Мать умерла. Знакомые ее, при моей помощи, пособили нам сбыть ее в могилу. Много было тут пролито слез дочерью; самому хотелось плакать при виде горестного положения Лены. "Одна я теперь, одна! В жизни я была ей тягостью, замужество мое сгубило ее... Добрая ты была, мамаша!.."

Были, как водится, поминки, но простенькие: три гостыи - приятельницы покойной, я да Лена. Гости выпили водки, вспомнили добродушие покойницы и расплакалась. Дошло до наивностей.

- Петр Иваныч, ты останься с Леночкой ночевать.

- С чего вы взяли, что я останусь?

- Да ведь вы жених!

- Вовсе я не жених, и не хочу, чтобы люди худое говорили про Елену Павловну. Вы кто-нибудь останьтесь с ней.

Я стал прощаться с Леной.

- Вы смотрите, держите ухо востро, а то они обокрадут вас.

- Ах, зачем вы уходите!

- Нельзя.

- Посидите!.. Нет, приходите завтра, ради бога!

- Вы завтра ищите другую квартиру, да вам нужно жить с женщиной. Здесь вам нельзя больше жить. Ведь вы будете думать о мамаше?

Лена заплакала.

Положение Елены меня сильно печалило. В продолжение месяца я хорошо познакомился с нею и убедился, что она хочет жить честно, хочет трудиться, и меня опять, по-прежнему, мучило намеренье жениться на ней. Теперь я убедился, что она, испытавши замужнюю жизнь и горе, будет стараться приобретать себе как-нибудь деньги и не будет требовать моих денег; у нас будет труд, хотя и разнообразный, зато мы будем помогать друг другу в материальных средствах. Но будет ли она помогать моему развитию? Вопрос этот сильно пугал меня. Она сама неразвитая женщина, но что же делать, если она неразвита? Но зато она говорит прямо, что чувствует, и несколько не стесняется своим незнанием. Она прямая, честная женщина. Чего же еще надо? А я-то что такая за особа?

Но как устроить ее положение? Везти в Петербург с собой я не могу, потому что я сам не знаю тамошней жизни. Надо спросить ее совета.

Я пришел к ней на новую квартиру. Она жила с девушкой, швеей, уже невестой какого-то писца, перебивающейся кое-как. Девушки дома не было. Лена шила свадебное платье.

- Как вы долго не были, Петр Иванович!
- А что?
- Скучно очень.
- Я с вами давно хотел поговорить об очень важном предмете.

Елена покраснела и задумалась.

- Я вас знаю давно, то есть прежде я знал вас только лично, а не знал, что вы за девушка были. Теперь я вас узнал.
- Что же вы узнали?
- То, что вы добрая, честная женщина.
- Еще что?
- Мне и этого достаточно. Ну, а вы меня узнали?
- Я? - мало. По наружности трудно судить о мужчинах. Вы у меня бывали много раз, а я у вас ни одного.

Мы замолчали. Немного погодя я сказал:

- Но дело ведь вот в чем, Елена Павловна: нынче я еду в Петербург.
- Совсем?
- Да.

Она побледнела и принялась сильнее шить, но иголки сновали невпопад.

- А вам не хочется, чтоб я ехал?

Она ничего не сказала, только проглотила слюну.

- Зачем вам ехать?
- Учиться хочу.
- Да вы разве мало знаете?
- Очень мало.
- Ну, там вы других людей найдете; а между нами какие же люди!

Она вышла на двор. Оттуда она пришла с красными глазами.

- Я не могу оставаться здесь, но надо подумать и решить, как нам лучше устроиться.
- А вы к чему это говорите? - спросила она меня строго.
- А вы согласны быть моим другом?
- Каким другом?
- Быть женой?

- Вы уже раз обманули...

"Капризничает", - думал я. Но, вероятно, она не капризничала; а ей тяжело было в это время.

- Поезжайте! Я буду жить, как бог велит.

- Зачем падать духом? Надо терпеть.

- Терпеть! - сказала она громко; на глазах появились слезы. И сказала-то она, - так словно внутренность моя повернулась.

"Экая проклятая жизнь! - думал я дома. - Или оставаться здесь, или бросить ее? Эка штука! Женюсь я на ней здесь и захрясну между этими людьми, от которых я так давно хочу бежать. Оставить ее здесь... Но она-то как будет биться? Теперь ей год ждать... А если мне там не повезет, если я сам себя не выручу там; если, наконец, я увлекусь там и забуду ее? Нет, я ее не забуду. Я буду работать для нее. Я ее вызову туда..."

Через день я пришел к ней, она приняла меня сухо.

- Я думала, вы уже уехали.

- Видите ли, я бы женился на вас здесь, да я не знаю петербургской жизни. Когда я поживу там месяц, то напишу вам подробно, тогда вы сообразите: ехать вам туда или нет.

- Я ведь не навязываюсь.

- Не к тому я говорю. Вы сами поймете, что я не могу вас взять с собой, во-первых, потому, что на свадьбу нужны деньги...

- Какие?

- Попу за исповедь рубль. Все-таки на свадьбу выйдет рублей десять, да доплестись до Петербурга нам обоим будет стоить рублей пятьдесят; а если меня не определят там, то нам трудно будет жить.

- В таком случае я буду ждать.

- Да, надо ждать. Там и обвенчаемся.

На другой день после этого разговора в палате получилась бумага из министерства, которую просили из палаты мой формуляр. Все меня поздравили; я подал прошение в отпуск и поехал к дяде проститься. - Что-то дядюшка скажет? Каково-то это будет для тетки? Неужели они еще будут препятствовать мне? Это меня всю дорогу мучило; но еще заботило меня то: как бы уговорить дядю помочь Лене?

Дядя меня никак не ожидал. Я приехал утром, часу в одиннадцатом, к почтовому дому, в котором помещалась контора и жил почтмейстер. Я увидал дядю в окно.

- Это к нам. Какой такой черт! - сказал голос из окна.

Я понял, что это говорил мой дядюшка. Через три минуты в воротах показалась тетка в старом ситцевом платье, с скалкой в левой руке, а за ней дядя в халате и с папироской во рту. Увидев меня, он улыбнулся, а тетка обтерла фартуком свои мучные губы.

- А! это ты, племянничек... Что? - сказал дядя.

Я посмотрел на него. На лице я не заметил никакой улыбки. Есть такие люди, на желтом лице которых ничего не заметишь, будь ты какой угодно физиономист. На лице дяди мне вообще

редко слушалось замечать улыбку.

- Как это вы надумались посетить нас? - спросила тетка.

Я подошел сначала к тетке, поцеловал ее.

- Смотри, что нам дали! - сказал дядя, указывая на двор и дом.

Теперь я заметил, что он как-то зло улыбался; обстановка, как видно, ему не нравилась: ему хотелось, как почтмейстеру, жить в каменных хоромах, а он жил в старом деревянном доме, который соединялся с сараями. На полу доски, в правой стороне березовые дрова.

- Место чисто провинциальное; деревней пахнет, зато воздух хорош.

- Кхе! - дядя кашлянул и рассмеялся и, как хозяин-начальник, сказал:

- Ты посмотри, где почтмейстер-то живет!

- Ах, Петинька, что это за жизнь-то, - говорила тетка, постоянно охая.

- Губернским не пахнет! Вошел я по шаткой лестнице.

- Это крыльцо... Уездный город - последний город, дрянь... Я в заводах лучше живал! - и т. п.

Сначала дядя расспрашивал меня о новостях; тетка слушала и улыбалась. Я говорил о политике, дядя ругал Гарибальди и всех тех политических деятелей, о которых он вычитал в "Сыне отечества", высказавши при том, что этот журнал и "Воскресный досуг" - самые лучшие в мире журналы. Теперь я заметил, что дядя занимался чтением; а занимался он чтением потому, во-первых, что ему было скучно, а во-вторых, ему, как почтмейстеру, хотелось похвастаться новостями перед корреспондентами. Он читал только "Сын отечества" и "Воскресный досуг", другие журналы и газеты он и в руки не брал: те не для нас писаны, - говорил он. Особенно дядя любил картинки. Карикатуры его смешила, и он хвастался: "Славно как в "Сыне отечества" отрисовали! Это, верно, наш купец, седой..." Кроме политики, происшествий и картинок, дядя ничем не интересовался; случалось, читал он повести, но редко, и то хвалил только такую повесть, если в ней была концом смерть, кража или вообще насилие. Иначе его трудно было заинтересовать.

Теперь он выглядел настоящим уездным почтмейстером, каких у нас весьма много. Хотя у него и была прежняя простота, но она мешалась с личным достоинством: я почтмейстер, я начальник, я отдельная в городе власть - и никого не боюсь! Он действительно никого не боялся: в контору ходил в халате, кроме приемных дней; почту отправлял тоже в халате, почтальоны и почтосодержатель его слушались, с городской аристократией он не хотел знаться. Сидит он, например, у отворенного окна; через дорогу, а в большом доме, живет какой-то уездный туз. Дядя ругается: "Ишь, дьявол, какой дом нажил, и вечера делает!" Вот прошел какой-то служащий, поклонился дяде, дядя кивнул головой и говорит мне: "Дрянь, шельма!.. Жениться нынче хочет. В приданое дают дыроватый сапог да блоху на аркане", - хохочет. Вышли из ворот барского дома ватага аристократов и аристократок; дядя отходит прочь от окна и ворчит громко: не поклонюсь и шапки никогда не сниму, хоть вы и губернаторские клеветы! (Это слово он где-то вычитал, и ему оно очень понравилось; это слово, по его понятию, было нехорошее, хуже всех ругательных слов.) И начинает он рассказывать целые истории об этих "клеветках".

Прежде дядя любил ходить пешком, теперь он ездил, и тетка тоже ездила; а лошадь была почтовая, даровая. Теперь его знал весь город, и все ему кланялись, а это ему очень нравилось. Тетка тоже кланялась; во она редко выходила с мужем: ей и лень было, и почему-то неловко казалось показаться на улице; она так любила свою комнату, что

постоянно после обеда сидела у окна и наблюдала за всем, что происходило на улице и в барском доме.

- Ну, как ревизор? - спросил меня дядя.

- Уехал.

- А ведь ты просился в Петербург?

- Просился.

- Я тебе говорил раньше свое мнение... - он сказал это тоном начальника, каким не говорил раньше.

Пришел крестьянин получать письмо, и дядя ушел в контору, которая помещалась в квартире дяди, в небольшой угловой комнате. Подсела ко мне тетка.

- Ну, как Лена? - спросила она меня.

- Положение ее плохое...

- Я говорила самому, чтобы ее взять к нам, да он говорит - самим тесно будет.

- Вы, мамаша, позвольте мне жениться на ней?

Тетку это как будто удивило. Она долго молчала; наконец сказала:

- Да ведь у ней ничего нет.

- Да ведь и вы так же выходили замуж.

- Я девица была. Да и прежде проще было, а ныне дороговизна страшная.

- Все-таки можно жить.

- Ты сам знаешь, не маленький. Ты вырос. Мы тебя вскормили, вспоили. Ты и прежде нас не слушался, в Орех уехал, теперь без нашего спросу в Петербург едешь.

- Мне бы не хотелось так делать. Вы Лену знаете.

- Делай как знаешь, а мы к тебе на свадьбу не поедem... Пришел дядя.

- Слышишь? Он на Ленке жениться хочет.

- Еще лучше!

Дядя долго ворчал, но отказа не давал, потому, вероятно, что думал: он, может быть, не поедет в Петербург. После обеда я сказал им, что через неделю еду в Петербург. Это их поразило. Они долго бледнели.

- Ну, что ты скажешь на это? - спросила тетка дядю.

- Ну, вот! - сказал только дядя.

В этих словах высказывалось горе. Дядя тяжело вздохнул. Мне жалко их стало обоих. "Зачем мне ехать? не поеду", - подумал я и хотел сказать им это, но язык не поворачивался.

- Бог с тобой, Петр Иваныч, - сказал дядя.

Ему как будто плакать хотелось.

- Я, папаша, только съезжу.

- Бог с тобой! - сказала тетка и заплакала.

- На себя пеняй! Кто тебе велел женить брата? - сказал дядя и ушел в контору.

Тетка стала упрекать меня во всем, что она знала худого за мной, но больше плакала. Жалко мне было их обоих, хотелось воротить назад свое слово, но я не мог этого сделать. Мне представлялся Орех со всеми людьми, вся моя жизнь за все прожитое там время; меня манил к себе Петербург, меня тащило туда что-то.

- Что ты там будешь делать? шары продавать? - сказал мне дядя, пришедши из конторы.

- Я буду служить в министерстве... Дядя долго молчал.

- Поди-кось, без тебя там мало людей шатается без мест!

Я сказал, что ревизор меня полюбил и туда уже послали мой формуляр.

- А если тебя не переведут?

На этом-то я и сам задумывался. Кто знает, какие там порядки: может быть, в то время, как послан был оттуда запрос, уже вакансию мою заместили.

- Ну, я так съезжу!

- Эдакой богач! Служил бы знал, а не шатался без дела... Все бы ты ездил; эдак, брат, никакой должности некогда не получишь.

Жизнь обоих супругов была скучная, тем более что занятий мало. Встанут они в шесть-семь часов, напьются чаю. После чаю дядя отправляется в контору; если там делать нечего, он свистит, поет, барабанит по столу пальцами и рад не рад постороннему человеку, с которым можно потолковать о жите-бытье. Придет почта, получают бумаги, почтальон сообщает новости, и эти новости обсуждаются дядей и теткой целую неделю. Тетка стряпает в кухне. Пробьет десять часов, дядя выпьет рюмку водки и опять скучает. В Двенадцатом часу опять выпьет рюмку водки и хочет обедать. Обед всегда бывает в первом часу, и после него, до шестого часу, супруги спят. После обеда опять скука: идти некуда, да и не в моде в этом городе. И скучает дядя, проклиная свою скуку и город... И проклинаят они город еще потому, что содержание дорого, жалованья мало, доходов нет, и бывает часто, что дядя берет займы бумагу из судов, потому что казенных денег на этот предмет недостает.

У них я прожил четыре дня и скучал так, как некогда. Наконец нужно было ехать. Как раз к отъезду приехали два родственника: дядя Антипин с зятем.

- Вот, господа, посмотрите на парня! в Петербург едет, - сказал дядя. Он злился в это время.

- Хорошее дело, - сказал Антипин.

- А как, по-вашему, - ехать ему или нет?

Родственники толковали дяде, что я хорошо делаю, но дядя все злился. Тетка плакала.

- Коли так, нет тебе благословения! - закричал дядя.

- Полно! - уговаривали его родственники.



- Не ваше дело. Прокляну!

Но все-таки он дал мне шесть рублей денег.

Крепко я обнял тетку, и горько плакала она в это время. Дядя тоже утирал глаза, но он крепко злился на меня, говоря: выкормили соколика, и знать нас не хочет...

- Не забывайте меня, - говорил я им, садясь в повозку.

- Не забывай, Петинька! В люди выйдешь, вспомни нас, - говорила тетка.

Но тяжелее всего мне было расставаться с Леной. Из слов ее и обращения я понимал, что она любила меня, и любила давно. Да и к кому же ей больше привязаться, когда мы росли вместе года четыре? И мне припомнилось, что в это время мы сильно были расположены друг к другу, у нас не было ссор и тем более драк. Потом Лену любили наши родственники, мои родные, называли ее родной, я скучал об ней, когда ее не было у нас.

Уехал я в уездный город служить, прожил там два года, и страшно мне хотелось жить в Орехе, познакомиться с Леной как следует, устроить нашу жизнь так, чтобы не мешать друг другу, и, женившись на ней, иметь в ней хорошего, настоящего друга и вместе с ней учиться и развиваться. Это я хотел устроить и дошел до этого без всякой посторонней помощи, тем более - без книг; а в жизни я видел все какой-то разлад, сетование на судьбу и людей; в романах же и вообще в любви на разные манеры, кончающейся женитьбой или смертью героев, ничего похожего не было на мой план.

Когда я в первый раз приехал в Орех и пошел к Лене, я застал ее и мать ее в таком же положении их умственного состояния, как и прежде; только Лена выросла, и стала красивой, нежной и здоровой девушкой. Я ее полюбил тогда крепче, но, увлекаясь ею, все-таки не мог узнать ее поближе, то есть сходитесь ли она или похожа ли на мой идеал. Чем дальше я вглядывался в ее лицо, все больше и больше я любил ее, любил даже так, что готов был жениться на ней. Лена всегда улыбалась, когда я приходил к ней, жала мне крепко руку; в пасху, когда мать ее заставила нас похристосоваться поцелуями, она крепко поцеловала меня в третий раз, а я только прикасался губами к ее лицу, и слышал я, как крепко билось ее сердце в это время; многим женихам она отказала, несмотря даже на их чиновничество; но и при всем этом она никогда не сказала мне ни одного любезного слова, когда она бывала со мной; ей неловко было, что я тут, и она крепче работала, краснела, не поднимала головы. Тогда я догадывался, что она меня любит, но любит скромно, по-своему, не любезничает, не вешается: на шею, и за это я полюбил ее еще больше. Когда я узнал, что Лена выходит замуж, целый день я был в агитации, ругал себя и, наконец, пришел к тому заключению, что она меня не любит и считает за обманщика, или мать сбывает ее с своих рук. Прошел месяц, два; мне чаще и чаще стало приходиться в голову сожаление, что я не женился на ней. Были у меня друзья, но эти друзья приучили меня пить водку, играть в карты; я начинал тупеть и ленился заниматься своим развитием. И в это-то время я приходил к тому заключению, что от Лены я требовал многого, даже невозможного при ее воспитании.

"Умен ли я-то? - думал я. - Что я могу дать ей, чем я разовью ее? Я только считаю себя умным, во мне самолюбия много, а люди считают меня дураком. Павлов говорил, что я плохо развит; ревизор смеялся надо мной. Чем я гордился? Тем, что мне удалось напечатать в губернских ведомостях две статьи, которым я сам не сочувствовал и за которые меня же обругал печатно мой товарищ?.."

Через год я увидал Лену женщиной, имевшей ребенка, перетерпевшей много горя в замужестве. В месяц я узнал от нее более, чем в пятнадцать лет, и этому помогло то, что она могла говорить со мной, как женщина, свободно. Вот что говорила она о своей замужней жизни:

- В доме я была работница: ставила самовар, топила печь, мела полы и должна была слушаться мать, мужа, брата, сестру - и не выходить из их воли. Денег муж мне давал и не хотел, чтобы я работала на сторону. А мне хотелось работать, потому что я привыкла к этому. Скучно было, я рада, что какую-нибудь книжку дадут читать, но книги были старые, французские романы глупые, - да и муж толковал мне, что мне надо медицине учиться, я могу быть повивальной бабкой, и говорил мне часто об этом. Муж хворал, я боялась, чтобы он не умер: куда я денусь с ребенком? Умер он, мне жалко его стало, потому что он добрый был и ласкал иногда.

По приезду в Орехов от дяди, в последний раз я пошел к ней, - проститься, так как завтра мне нужно было ехать, а сегодня у меня вечером назначена была лотерея. Она казалась холоднее ко мне, чем раньше.

- Я в монастырь пойду, - сказала она мне.

- Значит, вы меня не любите?

- Ах, не говорите! Она молчала долго.

- Ну, а вы поедете ко мне?

- На какие деньги я поеду? Ну, я приеду к вам: вы думаете, я с вами жить стану? Покорно благодарю.

- Не лучше ли нам теперь обвенчаться? а потом я уеду, - вы пока поживете здесь...

- Нет уж, поезжайте... Не судьба, верно! - И она заплакала.

- Прощайте!

- Когда вы едете?

- Завтра.

- Так вы точно едете?

- Да.

Лена замолчала, лицо ее побледнело. Жалко мне ее было; я так дядю и тетку не жалею. Однако я подошел к ней, подал ей руку. Она подала мне свою руку, а на меня не глядела; мне самому неловко было...

- До свиданья, - сказал я.

Она молчала.

- Елена Павловна!

- Что?

- Прощайте!

Она ничего не сказала... Я ушел. Затворяя двери, я видел, как она плакала.

"Зачем я пошел к ним в то время, когда получил записку от Лены? - упрекал я себя. - Не ходи я, и ничего бы не было".

Вечером была лотерея. Гостей было двенадцать человек. Все перепились, расцеловали

меня, пожелали мне счастья, и каждый расстался со мной другом, прося написать каждому письмо о Петербурге. Все они упрекали меня Леной и спрашивали: повезу ли ее в Петербург? Многие советовали мне не возить ее: ты там хорошую, образованную найдешь.

С лотереи я получил тридцать рублей, да из палаты взял жалованья за этот месяц и за будущий. Таким образом, у меня составилось пятьдесят рублей.

Утром я отправился к Лене. Она складывала свои вещи.

- Куда вы?

- На квартиру. Я нашла за городом квартиру за пятьдесят копеек в месяц. Хозяйка - старуха, кажется, добрая; живет она с дочерью. Дочь - вдова-солдатка и работает на пристани. Всего только одна изба, да ладно с меня. А вы совсем?

- Сейчас еду.

- Прощайте. Я бы пошла проводить вас, да некогда. Пишите.

Я ей дал пять рублей, но она обиделась и не вяла.

- Я не нищая, слава богу. Вам самим пригодятся. С тоской я ушел на пароход, но зато там я с нетерпением ожидал отплытия. Человек шесть меня провожали и завидовали моему счастью. Наконец пароход тронулся, обернулся по большой реке; сотни рук сняли шапки отплывавшим, махали и платками. Все отъезжающие, палубные, перекрестились, улыбнулись, только мне было скучно: я уезжал от той, которой я мог составить счастье. "Что-то будет с ней? - думал я... - Ну, да мне самому свое счастье дороже..." И казалось, как будто она стояла на горе, в стороне от людей, глазающих на отплывающий пароход и говорящих: счастливичики! Но вдалеке я мог видеть только ее желтое платье, движущееся от ветра. Сердце сжалось у меня, когда я подумал: каково-то ей, бедняжке, в это время? И я отвернулся от берега и стал смотреть на пароходный мир, откуда слышалось в разных местах: "Прощай, Орех! дрянной ты городишка... То ли дело вон там-то, у нас... Разлюли-житье!"...

Часть третья

## СТОЛИЧНОЕ ЖИТЬЕ

Только дорогой, подъезжая ближе к Петербургу, я услышал, что в Петербурге бедному человеку жить трудно, но я этому не верил. Я думал, что если я в Орехе получал сначала жалованья шесть рублей и жил же, то и там на двадцать рублей в месяц проживу. Я думал, что там я буду получать жалованья не меньше двадцати рублей, из коих три я отдам за комнату да за обед буду платить семь рублей, а десяти рублей мне хватит на чай, сахар, табак и одежду. Кроме этого, я слышал, что в министерствах дают большие награды. Но вот и Петербург! Москва не произвела на меня такого впечатления, как Петербург своими домами, движением народа, разнообразием цветов и видов, криком и навязчивостью торгашей и извозчиков. Здесь я с первого же шага из вагона попал на попечение добродушного человека, который сказал мне, что он берет меня к себе в гостиницу за пятьдесят копеек, схватил и понес мое имущество, уложенное в чемодане, и привел меня в сырую, душную комнатку со

сводами. Это был подвал, как сейчас же оказалось.

Вечер я провел смутно. Видел я Петербург, а не мог осмыслить, что я видел: дома, люди, лошади, кареты - все вертелось в моей голове, как в тумане. Вышел я за ворота - не знаю, куда идти. Вернулся - и заблудился во дворе, окруженном четырехэтажным домом. Насилу нашел свою лачугу. Здесь я был совершенно чужой всем; поди я куда-нибудь - меня занесет туда, что мне и не выйти одному, да я и не знаю, в какой части города я живу, в чьем доме, у кого. Вон заиграли музыканты во дворе, и почти в каждом окне я увидал если не по два человека, то по одному, - стал я считать их, насчитал до сорока - скучно стало... Грустно сделалось, что я один, что у меня денег шестнадцать рублей и я не могу прокатиться по городу... Но меня брало сомненье: а если мое место уже занято кем-нибудь? В таком случае я буду сочинять или буду искать каких-нибудь занятий. Пришел хозяин.

- Вы, поди, спать хотите с дороги-то. Не купить ли водки?

- Пожалуй.

Выпил я стаканчик очищенной, хозяина попотчевал, - и скоро заснул. Через день, разыскавши департамент и узнавши, где живет начальник отделения Черемухин, я пошел к нему на квартиру - для того, чтобы явиться. Прежде я часто бывал в барских кухнях, приемных и комнатах, потому что у нас, в Орехе, являются так к начальникам - на дом с подарками. И здесь мне захотелось увидеть барина в кухне, с одной стороны, потому, что я сознавал свое ничтожество, как писаришко из провинции перед генералом, и находил поэтому за лучшее протереться к нему с кухни, а с другой стороны, по провинциальному обычаю, мне хотелось услыхать о генерале кое-что от прислуги: хорош ли он и т. п. Вошел я по одной лестнице в третий этаж, сказали: ступайте по другой лестнице, а лучше спросите дворника... Дворника во дворе не нашел; дворницкая заперта, пошел наудалую по другой лестнице - на третью послали. Опять пошел я по какому-то крыльцу кверху; на четвертом этаже меня остановил дворник, спуставшийся сверху с двумя ведрами.

- Что ты тут шляешься? - крикнул он на меня.

- Я Черемухина ищу.

- Я те дам Черемухина! Кто ты такой?

- Я нездешний. Скажи, ради бога, где он живет.

- Я те покажу! нездешний... Пошел прочь!.. Ты должен дворника спросить, а не шляться по лестницам.

- Скажи, пожалуйста, - взмолился я.

В это время из левых дверей вышел молодой человек, приятной наружности, в сюртуке.

- Что тут? - спросил этот человек дворника.

- Да вон этот барина вашего спрашивает.

- На что вам генерала?

- Мне нужно.

- Они не принимают на дому. Извольте в департамент отправиться.

Я спустился. Обидно мне показалось, что меня даже и в кухню-то не пустили. "Врет! - думал я, - пойду с парадного". Во дворе я увидал другого дворника, с огромной вязанкой дров. Он

мне рассказал, как нужно попасть с парадного хода в 18-й номер. Вхожу в подъезд - точно зал: стены шпалерами оклеены, налево перед столом сидит на стуле швейцар с пуговицами и с позументом на фуражке и читает афишки, за ним вешалка, на которой висит шинель. На полу ковры, впереди лестница с ковром, на ней поставлены цветы.

- Кого нужно? - спросил меня небрежно швейцар.

- Черемухина.

- От кого?

- Сам от себя. - Мне стало обидно, что он принял меня за лакея. - Нельзя.

- Отчего?

- Сказано - нельзя, и все тут!

- Я из департамента, с приказом.

- Ну, пошел! Давно бы так сказал... Да пальто-то на вешалку повесь.

Повесив пальто, я пошел по лестнице по коврам. Сердце билось сильно. На стенах плоховатые картины - нарисованы деревья да девы какие-то; пахнет духами. Вот я и в третьем этаже. Смотрю налево: над дверьми - N 18, на одной половине двери медная дощечка и на ней вырезано: действительный статский советник Павел Макарович Черемухин. Стал я у двери, словно дрожь пошла по телу: вот, думаю, как отворит двери он сам, да как закричит... С замиранием сердца я взялся за звонок и сильно дернул его два раза. Через несколько минут мне отворил двери тот же лакей, который говорил со мною на черной лестнице. Увидав меня, он сказал сердито:

- Вам сказано, что генерал не принимает!

- Будто?

И лакей, не сказав ни слова, запер дверь.

Я ужасно был зол в это время и, плюнув чуть ли не на дощечку, сошел вниз.

- Его, говорят, нет дома, - пожаловался я швейцару.

- Я почем знаю, - проговорил швейцар, не отнимая глаз от какой-то газеты.

Отсюда я злой пошел прямо в департамент. В приемной стоял швейцар, очень высокий господин, как пугало в огороде с булавой. Я было пошел на лестницу, но он остановил меня.

- Снимите пальто.

В это время я уже смирился духом.

Я снял пальто и по просьбе швейцара дал ему за сбережение пальто пятнадцать копеек.

На мне был надет форменный сюртук, состряпанный в Орехе, с ореховскими пуговицами, давно отлинявшими, с протершимися локтями и полинялым воротником. Брюки были старые, полинялые; на одном сапоге дыра, - и поэтому мне стыдно было подниматься к департаменту. На площадке между двумя департаментами стояло шесть сторожей. Они очень любезно заговорили со мной и объяснили, что Черемухин еще не приехал, и так как теперь второй час, то он скоро будет. Узнавши, что мне надо, сторожа пожелали мне счастья. На площадке и по двум коридорам ходили чиновники в вицмундирах, фраках, пальто,

пиджаках и сюртуках - старые, молодые и юноши. Я стоял робко и чувствовал, что я, в сравнении с ними, - дрянцо, и сознавал свое ничтожество перед ними; лицо мое горело, со сторожами я говорил запинаясь, ходил по площадке неловко, руки и ноги вздрагивали...

- Черемухин идет! - сказал один сторож, стоявший у перил лестницы, и вслед за тем вошел на площадку здоровый человек лет сорока, с важной надутостью в лице. В коридоре он спросил вахмистра здоровым голосом, протяжно:

- Директор здесь?

- Точно так-с, ваше-ство! - отрапортовал скороговоркой вахмистр.

- Спрашивал меня?

- Никак нет-с, ваше-ство!

- Доложи, когда придет вице-директор Н.

- Слушаю-с.

И генерал пошел по коридору, важно покачиваясь на правый бок и держа голову кверху. Многие чиновники кланялись ему низко, и он, как мандарин, кивал им слегка, а некоторым и вовсе не кланялся.

- Это он? - спросив я сторожа.

- Он. Он теперь в свое отделение пошел. Идите.

- Булку будет жрать, - заметил другой сторож, улыбаясь.

По указанию сторожа вошел я в большую комнату с лакированным полом, с семью столами разных величин, Чиновники одеты прилично, смотрят фронтами; одни едят, другие разговаривают, третьи читают газеты. Я никогда не ходил по лакированным полам и теперь боялся, как бы мне не упасть, потому что ноги имели к этому большое поползновение. Таким образом, смотря на пол и по сторонам, я заметил все-таки, что чиновников очень много; меня пробирала дрожь, и я не знаю сам, каким образом прошел много комнат и остановился только в последней комнате. Со страхом я подошел к какому-то высокому человеку в сюртуке, с палкой в левой руке, для того, чтобы спросить, где начальник такого-то отделения. Но я и тут сробел. А я от самого дома вплоть до департамента занят был тем - какую мне сказать речь начальнику отделения? В голову ничего не лезло, кроме слов: имею честь рекомендоваться, канцелярский служитель-помощник столоначальника Кузьмин... И это я твердил всю дорогу в то время, как шел по департаментской лестнице и когда шел по комнатам. Она мне не нравилась, хотелось сказать красивее, да ничего лучше не выходило. Теперь, занятый своей речью, я струсил высокого человека с палкой. Увидав меня, он спросил:

- Что надо?

- Я... Куз...

- Что-о? - чуть не заревел на меня человек с палкой. Я смотрел на его палку, которая точно прыгала.

- Мне нужно начальника... - и я забыл фамилию начальника отделения.

- Что вам надо? зачем вы шляетесь по отделениям! - закричал он и отошел прочь.

Ко мне подошел какой-то молодой чиновник и, переспросив, что мне нужно, указал дорогу и

заметил:

- Зачем вы вице-директора беспокоите!

- Разве я знаю, - сказал я как-то глупо с досады. Пошел я по указанной дороге; ноги подсекались. Увидел Черемухина и подошел к нему. Он сидит налево, что-то жует и разговаривает громко с каким-то чиновником, сидящим около него. Я стал перед Черемухиным.

- Что скажете? - спросил он меня и встал.

- Имею честь рекомендоваться... - я закашлялся.

- Что нужно?

- Я, ваше превосходительство, Кузьмин из Ореховской губернии.

- А! Петр Васильевич! - обратился он к одному из подчиненных.

- Что прикажете? - спросил его кто-то. В глазах у меня рябило.

- О Кузьмине какое распоряжение сделано? - Причислили к департаменту.

- Ах! да! Вы к департаменту причислены, - произнес генерал таким тоном, как будто он мне сделал большое благодеяние.

Это благодеяние меня словно обухом ударило по голове. Я ничего не слышал, что говорилось вокруг меня и что делалось.

- Поняли? - спросил меня кто-то. Я очнулся. За большим столом сидело пять человек; трое из них смотрели на меня и улыбались; двое писали и о чем-то переговаривали друг с другом.

- Я в это отделение назначен? - спросил я одного чиновника, особенно пристально смотревшего на меня.

- Опоздали немного; директор другого велел определить, а вас причислили к департаменту.

- Сколько же мне дадут жалованья?

- Ничего.

- Да у меня всего-то денег шестнадцать рублей. Чем я буду жить?

Я опять подошел к начальнику отделения, и уже храбро:

- Ваше превосходительство! Я не могу быть причисленным к департаменту, потому что я имею всего денег шестнадцать рублей.

- Жалею!.. Кто же вас просил ехать?

- Да ведь мой формуляр затребовали! Вы хотя по воле меня примите.

- Директор говорит, что вы не обучались даже в гимназии... А у нас нынче даже много университетских причислено к департаменту. Впрочем, вы зайдите дня через четыре, я, может, улажу это дело.

Я пошел к директору. Долго я терся в приемной между разными чиновниками и кое-как дождался директора. Он уже шел домой. Это был высокий, тучный господин, с бакенами, лет

тридцати пяти, в вицмундире без орденов.

- Что скажете? - спросил он меня небрежно, мимоходом, глядя в дверь.

Я объяснил ему, в чем дело.

- Подайте прошение, - сказал он мне и пошел.

- Да ведь я причислен к департаменту.

Директор обратился к какому-то чиновнику, вероятно правителю канцелярии.

- Что ему нужно?

- Вам что нужно? - переспросил меня правитель канцелярии.

- Кузьмин... Я из Ореховской губернии.

- Об нем, ваше превосходительство, хлопотал Симонов, ревизовавший ореховскую палату...

- У меня, ваше превосходительство, всего шестнадцать рублей, - сказал я директору.

- Доложите завтра! - сказал директор правителю канцелярии и, раскланявшись, ушел - домой.

"Ах, как хорошо быть директором! Власти-то сколько! Делай, что хочешь!" - думал я, спускаясь с лестницы. Пошел я на свою квартиру в большом горе. Первое, что вертелось в голове, - то: как я буду жить здесь? Ну, проживу я месяц, а потом? И я решил подождать еще четыре дня и потом искать службы где-нибудь в частных конторах. Проситься в департаменты я не мог, потому что у меня не было ни одного знакомого в Петербурге, а Симонов, который мне протезировал, назначен был в какую-то провинцию. Шел я по Невскому, и как мне противен он казался со своим блеском! - но при этом мне страшно было больно, что я не могу в Петербурге долго жить? Буду ли я в нем долго жить? Не знаю. Вот я и надеялся на перевод, а что вышло! Ехать назад не хотелось, да и на какие я поеду деньги?..

Андрей Васильевич, мой хозяин, тоже пособолезновал мне и стал просить зажитые мной у него за квартиру с пищей два рубля и при этом обидчивым тоном говорил мне, что он человек бедный, платит за квартиру дорого и ему от этой квартиры в пять комнат только убыток. Он уступил мне эту комнату за тридцать пять копеек в сутки на пять дней.

Скука была страшная в это время. Хозяин говорил глупости, да ему и некогда было беседовать со мной; сестра его, повивальная бабка, девица двадцати девяти лет, сетовала, что в Петербурге очень много бабок, практики нет, а в провинцию она не едет, во-первых, потому, что помогает в хозяйстве брату, а во-вторых, в провинции простой народ не доверяет ученым бабушкам. Шатался я и по городу - все невесело. Так бы и не глядел ни на что, так и вертелись в голове слова чиновников из Ореха: "Служил бы ты, служил здесь, а то, ишь, советником захотел быть". Опротивело мне глазеть по городу, и стал я лежать. Прележал сутки, надоело. На другие сутки стал переписывать одну статью - ничего не лезет в голову; выпил водки для вдохновения, - хуже: спать захотелось...

Пришел в департамент. Черемухин объявил мне, что мне назначено заниматься в его отделении; что я буду числиться при департаменте впредь до определения в штат, а так как я человек бедный, то буду получать жалованье, как вольнонаемный писец.

- Сколько же мне будут давать? - спросил я помощника столоначальника, Василия Петровича, в стол которого меня отослал Черемухин.



- Не знаю. Рублей десять или восемь.

- А штатные сколько получают?

- Низший разряд - одиннадцать рублей с копейками, да в эмериттуру вычитают проценты.

Велели приходить на другой день на службу.

Теперь я немного повеселел и не робел, как сначала, а глядел бойко на людей, идущих и едущих, как будто получил богатство или считал себя петербургским жителем; больше прежнего заглядывался по сторонам, смотрел на богатства, разложенные на окнах в магазинах, читал вывески на домах и сердился, что вывески большею частью написаны не по-русски, читал названия улиц, стараясь запомнить на случай местность, для того, чтобы не плутать после. И неловко мне казалось толкаться в народе: пальто мое сшито не так, как у петербургских. Попадалось мне много книжных магазинов, не утерпел, зашел в один и купил одну книгу, заплатив за нее два рубля с полтиной.

Андрей Васильич опять стал просить денег; когда я отдал, то у меня осталось всего капитала семь рублей пятьдесят копеек. Повел он меня смотреть квартиры. Долго мы ходили по разным улицам и переулкам, останавливались у ворот и подъездов, на которых были прибиты бумажки, гласящие, что здесь отдается комната или отдаются квартиры с прислугой или без оных; заходили в дома каменные - четырехэтажные и в одноэтажные; был я домах в десяти или больше, но нигде не нанял квартиры по вкусу и дешевой. В одной квартире отдавали комнату проходную за пять рублей, но мне не понравилось то, что отдавала комнату молодая женщина, в дверях же другой комнаты стояла девушка лет восемнадцати, а в этой комнате на диване сидел военный писарь. В другой квартире отдавался угол, и в этой комнате, где отдавался угол, было, кажется, восемь человек налицо. Наконец, я вошел в деревянный дом с пятью окнами на улицу, одноэтажный; зашел я с первого попавшегося крыльца, какая-то женщина сказала грубо: с кухни! - и захлопнула двери. Кухня грязная, с одним окном, около которого сидит женщина лет тридцати пяти и что-то почиивает. Недалеко от нее стояла женщина лет сорока, с измятым лицом и кричала:

- Я чиновница, слышь ты!

- Прохвоста, поди, какова! с солдатами таскаешься, - отвечала хладнокровно женщина, сидевшая у окна, продолжая шить.

- Здесь отдается комната? - спросил я чиновницу.

- Здесь. А вы один?

- Один.

Она повела меня к дверям - против кухонных дверей. Комната маленькая, с одним окном на улицу, грязная; шпалеры ободраны; налево дверь, только заперта. В комнате валялся какой-то мешок и стоял стул в углу.

- Сколько стоит?

- Четыре рубля.

- Тихо у вас?

- О! В этом не сомневайтесь.

- Мебели нет?

- Поставлю. Когда переедете?

- Сегодня.

Мы условились за три рубля, и я отдал ей задатку рубль серебром.

Вечером Андрей Васильевич нанял мне извозчика за пятнадцать копеек (с меня просили 40 копеек), и мы поехали на новую квартиру. В моей комнате, однако, ничего не прибыло: в каком положении видел ее раньше, в таком же она была и теперь.

- Хозяйка дома? - спросил я ту женщину, которая починивала у окна что-то.

- Дома; да к ней пришел писарь-любовник...

- А мебель-то как же? Хоть бы чурбан, что ли.

- Да у нее и чурбаньев нету, не то что мебели.

Андрей Васильевич ушел разыскивать хозяйку, но немного погодя я услышал, что он кричит недалеко от кухни. Я пошел искать его по коридору, в который выходили три двери: одни в хозяйскую комнату, другие к жильцам, я третьи в кухню. Но я не знал, где живет хозяйка, и отворил двери направо. Комнатка в два окна, чистая и порядочно меблированная, выходила на двор. У окна сидели две молодые женщины, а между ними сидел Андрей Васильевич и что-то говорил.

- А, это ты! садись. Это новый жилец, ваш сосед, - отрекомендовал меня Андрей Васильевич женщинам.

- Пойдем же хозяйку разыскивать, - сказал я ему.

- Ну, я не пойду. Садись с нами.

Однако я ушел и, отыскав хозяйку, спросил о мебели.

- Погодите, голубчик, завтра; а сегодня и так обернитесь.

Женщина, сидевшая в кухне, проворчала мне: ишь, верно, любовницу при себе держать хочет!

- Как так?

- А так. Эти дела я уж смекнула: они всего-то трои сутки переехали. А коли ты ихной любовник, я скажу тебе: к ним какой-то приказей ходит, должно из сенату. Одна, - та, коя помоложе, - шьет, а коя постарше - та все рыскает.

"Ну, здесь не житье мне", - думал я, входя в свою комнату. Долго я сидел на окне, повеся голову и обдумывая свое положение, потом пошел шляться по городу и прошлялся до двух часов ночи. Много грязи я видел в это время на улицах, в трактирах и садах, устроенных при трактирах, и так как это грязь, то я лучше умолчу об ней.

Когда я пришел домой, в доме, кажется, все спали, потому что ни в одном окне я не заметил огня, кроме лампадки, в которой горело масло перед иконой в хозяйкиной комнате. На крыльце и в сенях перед кухней была такая темнота, что я кое-как отыскал какие-то двери, около которых кто-то спал. Стал я стучать в двери, стучал долго, так что: разбудил спавшего человека.

- Кто тут? - пробурлил сердито мужчина.

- Я жилец.

Лежащий только перевернулся на другой бок. Опять я стал стучать. Отперли двери, только не эти, а другие, сказавши на вопрос, кто тут, удовлетворительный ответ, я вошел в кухню, в которой было очень темно.

- Как вы поздно! - спросил женский голос.

- Нельзя ли посветить мне?

Немного погодя в кухню вошла девушка лет восемнадцати, в блузе, брюнетка; она постоянно зевала, лицо ее было измято. В кухне спало четыре человека - двое мужчин и две женщины. По стенам, полу и спящим гуляло множество тараканов, черных и красных. Один мужчина спал поперек двери в мою комнату. Девушка хихикнула.

- Потом сидите дома, - сказала она мне.

- Чево еще вы с огнем-то тут! - вскричала какая-то женщина, лежавшая у стены.

Я пошел к двери; дверь не запиралась, и я перешагнул через спящего человека; девушка таким же образом вошла за мной. Свечками я еще не запасся; поэтому я радовался даровому освещению. Налево, на полу спало двое мужчин, по-видимому, из рабочих, положив под головы мой чемодан, так что он был в середине, а они спали врозь, углом, и через одного мне нужно было опять перешагнуть. Это мне не понравилось, да и я боялся, чтобы у меня не украли последнее мое достояние.

- Вот и покорно благодарю! - проговорила девушка и захохотала.

- Делать нечего; надо ложиться.

- Куда?

- Места будет.

- Отчего они ваше одеяло и подушку не взяли?

- Оттого, что они, должно быть, не привыкли на мягком спать.

- Как же вы на полу-то? - А они ведь спят же?

- Вы бы к нам шли, - сказала она нерешительно.

- Зачем?

- У нас лучше: я вам свое место уступлю, на пол лягу, а сестра не будет сегодня.

- Покорно благодарю. - И я занялся приготовлением постели: положил на пол одеяло, к стене подушку. Швее, как она себя рекомендовала во время приготовления мною ложа, как видно, хотелось посидеть у меня, но я ее ловко выпроводил. Спать я лег не раздеваясь. Долго я не мог заснуть, не потому, чтобы я кого-нибудь боялся, но меня начинали покусывать клопы и блохи, и я долго обсуждал то, что видел сегодня. Особенно я злился на то, что уехал из Ореха, не сообразивши того, как я буду жить в столице; злился на то, что я бедный человек, и решил завтра же искать другую квартиру.

Утром человек пробуждается свежий. Он больше может сообразить вещи; впечатления становятся более ясными, чем вчера, и то, что вчера вечером не нравилось, теперь кажется вещью возможной, и человек смотрит на все снисходительно. Так и теперь мне - хотелось пожить с бедными людьми и узнать, что такое провинциал, бедный провинциал в Петербурге:

достигает ли он своих целей и почему ему нравится жить именно в Петербурге, а не в Москве, Нижнем или у себя дома? Эта мысль приходила мне в голову; когда я ехал по железной дороге в Петербург и народу ехало очень много; потом я каждый день со скуки ходил на железную дорогу по четыре раза в сутки и удивлялся, что сколько приедет людей в Петербург, почти столько же отправляется из него и в Москву, но простого народа в Москву едет немного. Вставать не хотелось. Я еще лежал лицом к стене и слышал разговоры сидевших или лежавших мужчин в моей комнате.

- ... Ну их к чертям! На фабрике, али как-нибудь, лучше, потому неделю отробил, праздник гуляй, и понедельник гуляй. А извощик што?.. Вон, я знаю, к Петрову в кабак ходит Митюха, так проклинает-проклинает свою жизнь - беда, говорит. Лошадь своя - да корма-те ноне дороги, одному невыгодно фатеру нанимать, ну, и пошел в подряд к Сеньке Гуляеву.

- Мой брат по рублю в день всегда наживает, - сказал другой вошедший мужчина.

- Ну, поди, не всегда. А ты по каким ремеслам-то? -

- Столярю у Якова Карпова.

- Так.

- А тот, - ишь, кубарем-то свернулся, - из ваших? - спросил пришедший.

- Нет. Ночью, сказывают, прибег пьяной.

- Приказный, поди, какой.

- А бог его знает. Я перевернулся и сел на свою постель.

- Што, жестко спать-то? - спросил меня один из рабочих с клинообразной рыжей бородой.

- Я привык.

- Приказный, чай?

- Что делать, дядюшка! Рабочие стали одеваться.

- А ты вот что... Не знаю, как те звать-величать, не напишешь ли грамотку во Псковскую губерню: жона там с робятами, - сказал другой рабочий, низенький ростом, корявый.

- Ладно, - сказал я.

- Ты не думай, чтобы даром: денег дам, угощу.

- Я и так напишу.

- Ну, брат, мы знаем, как ваша-то братья живет. А ты отколева?

- Из Ореха.

- Слышал. Из той губерни недавно со мной робил один, сказывал - дрянное там житье-то... Так насчет грамотки-то можно?

- Можно.

Один из рабочих накинул на себя зипун, другой поддевку, оба надели по фуражке, один взял молоток, надел на плечи узелок с пожитками, другой тоже надел узелок; столяр облачился в поддевку, накинул фартук, а с собой ничего не взял. Они ушли.

Когда я вошел в кухню, мужчин там уже не было, только две женщины пили кофе розно. Обе они поглядели на меня косо.

- А где бы мне умыться? - спросил я женщин.

- Умыться-то у нас негде: изо рта умываемся.

- Как так?

- Зачерпнем чайной чашкой из кадки... так и моемся.

Я так и умылся. Когда я умывался, женщина помоложе, которой вчера не было в кухне, объясняла мне:

- Мы воду-то от водовоза покупаем по гривне за ведро, да хозяйка, паскудная, ворует.

- Откуда же вода-то?

- С канавы. С Невы-то далеко, ну и покупаем у таких - дешевле.

Воду противно было пить; в ней было много сору.

- А ты как здесь живешь?

- А столяр - мой муж, а другой-то - ейной, - и она указала на другую женщину.

- Много у нашей хозяйки жильцов?

- В той половине две девки живут, да с того крыльца чиновник с содержанкой живет.

- Дорого берет хозяйка?

- С чиновника шесть рублей, с девок четыре, да с нас по рублю, - значит, с одного по полтиннику приходит; а те мужики, что с вами спали, не знаю, сколько платят, потому вчера пущены.

- А вы чем занимаетесь?

- Яблоками да ягодами торгую. Да край-то здесь дрянной: когда четвертак выторгуешь, особливо в праздник, я то и пятака расколотого не приобретешь...

Пришла в кухню хозяйка; от нее сильно разило водкой.

- Хозяюшка, я не один буду жить в комнате? - спросил я ее, утираясь полотенцем.

- Что ж такое? они только ночевать приходят.

- А в праздник?

- Это уж мое дело. Нравится квартира - живи, не нравится - в Петербурге много квартир. А ты мне паспорт свой подай да деньги за месяц. - Я ушел в комнату, а хозяйка закричала на торговку:

- Зачем ты ему воду даешь?

- А чья вода-то - не моя, что ли?

- Молчать!

- Сама молчи, паскуда! пьяница эдакая...
- Ах ты!.. вон с моей квартиры!
- И уйду... Ты наперед деньги заплати, что за яблоки должна.
- Какие яблоки?
- Ах ты!..

Пошла ругань: присоединилась еще третья женщина; бабы раскричались и попрекали друг дружку чем только могли. Наконец хозяйка ударила торговку по щеке. Торговка вошла ко мне в такой агитации, что мне жалко ее стало, но на лице ее выражалась какая-то радость.

- Вот!.. вот!.. Плюху от паскуды, не пито, не едено, получила... Она убьет меня, и вас убьет... Я вас во свидетели ставлю.

И она убежала на улицу. Немного погодя она пришла с городовым, который вел себя как важное лицо, еле двигался, на все смотрел флегматически, как будто думал: "Мы эти штуки на каждом часу выдаем". Он отправился прямо к хозяйке. Сквозь дверь в моей комнате, рядом с хозяйкой, я мог слышать даже шепот.

- Ты опять! - сказал городской.
- Кузьма Сидорыч! я способиться не могу с ними!
- А зачем бьешь? Ведь она бой-баба, к самому частному пойдет.
- Выгони ты ее! Денег уж вот сколько не платит...
- Врешь! врешь, паскуда! - закричала торговка, услышавшая эти слова, и ворвалась в комнату хозяйки, но городской прогнал ее.

Зазвенели деньги; городской вышел на кухню.

- Ты, баба, не буянь, в квартал представляю, - сказал он мимоходом торговке.
- Ну и представляй! Я не воровка какая-нибудь!
- Ну-ну, не разговаривай!

Городовой вышел. После этого женщина, поругавшись с хозяйкой, скоро ушла.

Нужно мне было достать из чемодана дневник, но так как он был далеко, то пришлось вынимать почти все тетрадки, книги, белье и сюртуки. Повесить сюртуки, пальто и шинель было некуда, потому что нужно было еще купить гвоздей, да и вешать неудобно, потому что утащат, и тогда я должен буду ходить на службу в рубашке. Вообще я трусил за все мои вещи, за все мое движимое имущество; особенно дороги были для меня тетрадки, которые могли очень легко попасть в мелочную лавочку, где их употребят на обертки. Перебирая и размышляя таким образом, я вдруг увидел в дверях женщину, с которой я разговаривал вчера. Она очень приятно глядела на меня и на мое имущество, разбросанное по полу.

- Это все ваше? - спросила она как-то глуповато.
- А что?
- То-то. Я все смотрю: вещей-то у вас много. Вы по какой части?

Я сказал. Она подошла ко мне ближе.

- Не пособить ли вам?

- Нет... Мне нечего же делать.

- Я так... Мне тоже нечего делать... А не то я пособлю... - И она умильно поглядела на меня, потом заговорила: - Одиннадцатый год маюсь я здесь-то, из Михайловского села Костромской губернии приехала с мужем-сапожником; да недолго маялась с ним - помер скоро. Ну, и стала искать работы, домой неохота... Сватался за меня подмастерье один: я тогда красивая, молодая была. Не пошла. Думаю - сама себя прокормлю. Ну, и попала сначала в кухарки, в хорошее семейство; год выжила; четыре с полтиной получала, на всем на готовом... Потом хозяйева уехали, кажись, в Пермскую губернию, далеко куда-то. Звали, да куда я в экую даль поеду... С тех пор местов много перепробовала. Дрянно. Теперь вот две недели без места, последние гроши проедаю... В прачки думаю наняться... А вам не сходить ли за чем-нибудь в лавочку?

Я поблагодарил ее и отказался от услуг, потому что я понял: ей хотелось получить от меня что-нибудь.

Пошел в департамент и пришел так рано, что в нем, кроме сторожей, еще никого не было. Здесь я чувствовал то же самое, что чувствует новичок в училище. Сел я в дежурной, разговорился с чиновником, он послал меня в отделение. Сел я к окну и стал думать. Скучно, страшно скучно сделалось; хотелось заниматься, переписывать, и много бы я переписал, и так бы переписал, что удивил бы всех своим старанием... Вот начали проходить мимо меня чиновники: сначала один, потом еще один, и все больше и больше прибывали; заскрипели сапоги, задвигались стулья, что-то стучало, закашляли, заговорили, засмеялись - и начался в департаменте гул, появилось чиновников много, запахло тяжелее, и куда делась эта мертвая тишина! Департамент принял вид школы, только школьники были чиновники, сидевшие серьезно за столами, по три и больше человек за каждым. Все они как будто никого не боятся, толкуют свободно, о чем попало, смеются друг над другом. Но вот приходит помощник столоначальника; половина писцов ему кланяются, половине он подает руку, острит над кем-нибудь, считая, что он тоже начальство. Он отпирает шкафы и дает работу писцам. Заскрипели перья, но не везде; многие ходили, говорили, собравшись в кучку, читали газеты. Пришел наконец один лысый, худой, высокий и некрасивый чиновник, которого компания тотчас подняла на смех. Он подошел к помощнику столоначальника, Петру Васильичу, и протянул ему руку, тот ударил его по лысине. Он выругался и сел на свое место. Положив обе руки на стол и нюхнув воздух, он достал из стола бумаги с подкладкой, посмотрел правым глазом на бумагу так близко, как петухи смотрят, что в нем изобличало близорукость, еще повернул, поглядел так же и, положив на стол, взял простое перо, так же поглядел на него и стал чинить. Очинив перо, он попробовал его и, положив на стол, вытащил из кармана сюртука пеклеванную булку, стал кушать, пройдясь к другому столу.

- Жеребенок! - сказал один чиновник.

Двое чиновников захохотали.

Пришел какой-то гладенький чиновник. Его прозвали "Канарейкой", - "Жеребенок" назвал его Соловьевым. Он стал смеяться над "Жеребенком", называя его Дворянчиковым.

- Маменькин сынок! нахапал денег-то...

Дворянчикову, вероятно, было обидно, и он, сев на свое место, сказал: "Скотина! блюдолиз!" Глаза его больше прежнего покраснели, на лице выступили красные пятна.

- Господин... как вас?... вы не связывайтесь с этими скотами, - сказал он мне и стал выводиться

на черновой бумаге от нечего делать: "департамент", "его превосходительство" и т. д.

Собрались все чиновники, кроме столоначальников, и наше отделение было похоже на гимназический класс, потому что чиновники, семейные люди, походили своими шутками, остротами и выходками вполне на гимназистов; молодые, недавно служащие писцы, еще не чиновники, или переписывали, или, молча слушая товарищей, улыбались. Они учились развязности.

Занятие мое было легкое: я переписывал с предписания копию или писал отпуск к делу. Другие, почище меня почерком, тоже переписывали с черновых, написанных карандашом, предписаний. Наконец пришли и столоначальники; они поздоровались с помощниками да с двумя писцами, а прочих удостоили кивками голов. После всех их пришел Черемухин. Все встают с мест и кланяются, а Черемухин делает два кивка головой, мимоходом протягивает два пальца столоначальникам и зовет помощников. В отделении стихает говор; каждый старается сделать вид, что он занимается.

В первый же день службы я узнал от служащих, что Черемухин в высшей степени казенный формалист, старающийся во всем быть аккуратным человеком; что вся жизнь его заведена по часам, так что у него сутки распределены на разные роды занятий, - у него определено: когда вставать, когда чай пить, когда читать, писать бумаги, когда любезничать с женой, детьми, когда устраивать вечера. Узнал я также, что он очень самолюбив и честолюбив и никогда не уничтожит лоскутка бумаги, на котором он что-нибудь сочинил, и эти лоскутки у него хранятся в особой комнате, которая вся загромождена его творениями. Впрочем, говорили, что его понять довольно трудно - что он за человек. Мне же с первого раза бросилась в глаза его формалистика. Сторож приносит ему письмо.

- Откуда?

- Из города какова-то, ваше превосходительство.

- Сколько за мной?

- За пять писем - двадцать пять, ваше превосходительство.

- Как за пять?

- Точно так-с, ваше превосходительство.

Журналист принес ему ведомость о бумагах, выпущенных в эту неделю, и о числе разной бумаги, издержанной тоже в эту неделю

- Господа, - обратился он к чиновникам, - не марайте много бумаги! Я на счет поставлю... Отчего вы гусиными перьями не пишете?

Все молчали. Каждый как будто боится вызова, каждый, точно первоклассный гимназист, боится директора.

Отправляли какое-то дело.

- Михайло Алексеич, принесите мне полпалки сургучу, большой конверт... печать, бечевку... - говорил он с расстановкой журналисту. Тот приносит и кладет все это на стол. Черемухин подзывает к себе журналиста, писца и помощника столоначальника.

- Петр Васильич, держите конверт.

Петр Васильич держит конверт.



- Цел?

- Точно так, ваше превосходительство.

Обвязывает Черемухин дело бечевкой, прикладывает печать и кажет окружающим его трем человекам.

- Хороша печать?

- Хороша.

- Держите конверт.

И Черемухин сам всовывает дело в конверт, запечатывает его, обвязывает бечевкой, печатает, кажет при этом то журналисту, то помощнику столоначальника, и сам отдает дело с относной курьеру.

Уже шестой час, а Черемухин все копается; он сначала все уходил - то к директору, то терся в других отделениях; теперь он начал писать какие-то письма и между тем отдавал приказания помощникам. Столоначальники уже давно ушли, а писцы идти не смеют. Делать им нечего, хочется есть, идти нельзя, они и шепчутся громко: эх его, рассиделся! Недовольство выражается все громче и громче, и это, кажется, надоедает Черемухину, - он возглашает:

- А! кому нечего делать, может идти. Только вы, - говорит он помощникам и журналисту, - останьтесь да по писцу из стола оставьте.

Пошел я обедать в харчевню, в которой, как мне сказывали, порция щей стоит три копейки. Харчевню составляют три небольшие комнаты, в одной шесть столов, а в двух по три. В той комнате, в которую я вошел, было шесть человек, кроме меня: за одним столом обедали четыре извозчика, за другим какой-то человек в шинели, вероятно чиновник, с мальчиком. Я спросил щей и жаркого, Щи, по случаю среды, сегодня не полагались, а вместо них принесли уху и жаркое из какой-то рыбы. Хлеба можно было купить тут же. Извозчики толковали о своих делах, и перед ними на столе стояли две осьмушки. В остальных комнатах говорили громко, ругались - это были все рабочие люди, за исключением разве чиновника, которого, по его бедному наряду, впрочем, не считали за чиновника.

Уха оказалась дрянною: накладены какие-то кости, вода с песком, пахнет салом; жаркое, состоящее из двух черненьких маленьких рыбок, тоже пахнет свешным салом. Чиновник жаркое не брал, а взял две порции ухи, набивая ею свой и сына своего животы пополам с черным хлебом. По непривычке, я не мот хлебать уху. и есть жаркое, а ел хлеб с солью.

- Вы, верно, в первый раз здесь? - спросил меня чиновник.

- Да.

- Есть можно, дешево.

Пошел я в трактир, а попал в портерную.

- Пивка прикажете: белого али черного? - спросил меня сиделец, с красным лицом, немолодой.

- А можно у вас получить пирог с мясом?

- Можно. Прикажете бутылочку?

- Я не пью пива. Водки, пожалуй, выпью.

Заказав мне пирог, он стал просить меня, чтобы я его угостил пивом. Я так и сделал. За пивом он мне сказал, что он хозяин харчевни и портерной, что прибыли здесь нет, даже от харчевни мало выгоды; кутил сюда почти не ходит, потому что трактир и портерная с харчевней находятся не на видном месте.

- Вы не поверите, - рассказывал он мне, - я да зять наняли сообща - я здесь три комнаты за тридцать пять рублей в месяц, он - во втором этаже шесть комнат за шестьдесят пять рублей; на свой счет меблировали, покрасили, занавески повесили, капиталу одного две тысячи серебряных затратили, да эти свидетельства чего стоят! А уж полгода, как мы здесь торгуем, хошь бы грош выручили. Уж стараемся и так, и сяк, а пользы нет. Иной день и никто не зайдет. В трактир ходят, да в праздники... Хотел я бильярд здесь устроить, да зять говорит: отобьешь от меня гроши... Теперь хочу постоянный двор завести. Потрачу еще двести рублей, авось и поправлюсь.

На прощанье он еще стянул с меня бутылку пива и попросил посещать его почаще.

Между тем капитал мой убывал незаметно. Дорогой, сосчитавши деньги, я с ужасом узнал, что у меня всего их только пять рублей двадцать восемь копеек. Стал я ворочать мозгами - как бы жить так, чтобы денег не тратить? Но, сообразив, что везде лупят большие цены, я шел как помешанный и решил завтра же продать свой хороший неформенный сюртук, который в Орехове стоил мне пятнадцать рублей.

Хозяйка была уже пьяная и опять ругалась с жилищкой в кухне; чиновник, живший с содержанкой, праздновал свои именины, и потому в его комнате происходило веселие велие. Хватился сюртука, на который я хотел еще взглянуть в последний раз и посоветоваться с жилищкой, куда бы его продать, - сюртука в чемодане не оказалось, а замок заперт сомнительно. Объявил я свою претензию хозяйке, она закричала:

- Извольте убираться! очищайте комнату!

Такое предложение мне было сказано в первый раз в жизни, и я возмутился, но промолчал. Вечером у нее был гость, какой-то унтер-офицер. Он пришел пьяный и за что-то бил хозяйку, которая ругалась, плакала, и причитала: "Ты подлец! ты мою душу загубил, подлый человек!" Унтер тоже ругался и плакал, приговаривая: "Ты не любишь меня, собака! я в гроб вколочу твою подлую душу!.." - и все-таки они после этого затихали и целовались. Пришли рабочие в кухню и в мою комнату. Пришли они уже выпивши. Долго они ругались, потом запели все враз: "Не вчерась ли я гуляла" - но выходило нескладно. Потом они долго калякали о своих делах, ругались и вообще обращались друг с другом без церемонии, а один так чуть драку не затеял. Со мной обращались тоже попросту, просили полштофа водки, но я отказался, они обругали меня и скоро заснули. Они легли спать опять по-вчерашнему, только мои товарищи, спящие в комнате, положили под головы свои узелки.

И я лег спать, но долго не мог заснуть. Рабочие храпели, но хозяйка все еще ругалась, но уже охриплым голосом, и, казалось, была очень пьяна. Слышно было, что унтер говорил несвязно: "Ты свинья! ты добродет... не чувствуешь... да!.."

- Спи, пьяница.

- Я тебе покажу!.. покажу...

Вдруг что-то грохнуло - не у хозяйки, где-то в другом месте, но из хозяйской комнаты слышались только глухие ворчанья... слышался где-то свист, кажется, отворяли ворота... где-то скрипели двери... Страшно мне сделалось в этой берлоге, долго я не мог заснуть и заснул только к утру.

Мне хотелось жить в каменном доме. "Чем выше, - думал я, - тем воздух чище". Долго я

бродил по разным переулкам и наконец в одном из них увидел бумажку с надписью, что отдается комната с мебелью. Дворника не оказалось. Вышла с крыльца немолодая женщина, которая рекомендовала мне хозяина за хорошего человека. В этом деревянном доме-флигеле была питейная лавочка, в которой торговал хозяин флигеля, то есть квартирный хозяин. Он был молодой человек, и когда я вошел в лавочку, читал "Сын отечества". Со мной он обошелся любезно, говоря скоро: комната для вас будет очень хорошая-с и по месту довольно дешевая-с! - точно как будто он продавал мне водку или какие-нибудь вещи. Я рассказал ему про неудобства моей старой квартиры, он принял во мне участие:

- Помилуйте-с, как можно жить в такой квартире! Это настоящие мазурики, они обокрадут вас. А у меня жильцы все хорошие; Насчет покоя можете не сомневаться.

Он повел меня показывать комнату через питейную лавочку, заставив свою жену, Агафью Егоровну, сидеть вместо него в лавке.

Вошли мы в кухню. Там запахло кожей, сыростью, табаком и еще чем-то кислым. У окошка сидело двое мужчин, - один хромой, с начинающими седеть волосами, без бороды, но небритым лицом; другой походил на немца или скорее на финляндца. Не вставая, они проговорили хозяину:

- А, Андрей Петрович, как вас бог милует? Что, комнату отдавать? дело!

Мы пошли дальше. Наконец вот и комнатка, с одним окном и еще двери куда-то. Она была хотя и небольшая, но совершенно отдельная, светлая, недавно оклеенная обоями.

- Вот-с комната! - сказал хозяин, вздохнув и как будто желая уверить меня, что товар налицо, и он сознает, что лучше этого товара вы нигде не сыщете. - А это чердак. Тут вы, когда будет жарко, спать можете, - прибавил он, показывая мне чердак.

- В нем никто не будет жить?

- Как можно-с!

- Сколько же вы возьмете?

- Без лишнего пять рублей. Вам и самовар сюда будем носить.

Мы порешили на четырех рублях. Два рубля я дал задатку, хозяин принес мне кровать, стол и три стула. Скоро я переехал.

После занятий в департаменте я, напившись чаю и закусивши черным хлебом, короче познакомился с хозяином. Он поставил мне в кабаке осьмушку вишневки и сказал, что он московский мещанин, квартиру-флигель нанимает за триста пятьдесят рублей в год.

- А много у вас всего жильцов?

- Да есть-таки. Только народ-то рабочий, бедный. Больше водкой забирают.

Приходили в кабак покупатели. Все они знали моего хозяина, и он со всеми ими был очень вежлив, так что я удивился, заметив в хозяине кабака и в квартирном хозяине вежливого и простого совсем человека, которого, как видно, все уважают.

- Главное, не нужно заедаться с людьми; всякие есть. Нужно так делать, чтобы всех удовлетворить. А без этого ничего не поделаешь.

- Есть ли выгода?

- Какая выгода! С квартиры ровно ничего. Вот и здесь я только с женой и торгую. А то ежели мальчика держать, так надо платить шесть или больше рублей, кормить, да сколько еще водки выдует. И тут пользы мало, потому много развелось нашего брата. - Приходили жильцы и жилички за водкой, и он отпускал им в долг, записывая долг в книжку, причем шутил с ними, вроде следующего:

- Смотри, Семеныч, коли не заплотишь, верить не стану я твоему красному носу.

- Уж ты не говори! право слово, отдам.

- То-то! ишь, губы-то в яйцах выпачкал!

- Поди ты! с пасхи в рот не бирал. - Хозяин хохочет, а Семеныч идет к зеркалу.

В кабаке было зеркало и разные картинки, прилагаемые при воскресных номерах "Сына отечества".

Хозяин понравился мне за свою простоту, и я думал, что я теперь заживу ладно. Но на душе было невесело. Денег осталось уже два рубля тринадцать копеек, а я вот уже полторы недели не хлебал щей, не ел мяса. Покупал я молоко, но молоко через шесть часов претворялось в творог. На службе не было ничего особенного, квартира тоже ничего, соседи хотя и говорили громко, пели, хохотали, но все-таки я читал. Только по вечерам в кабаке пели песни рабочие очень пронзительно, потому что кабак был подо мной, и плясали так, что дом трясся. Заходил ко мне и первый хозяин, Андрей Васильич. Он сначала пил водку на мой счет, а потом, как узнал, что до конца месяца еще неделя, то и сам покупал водки. Он просил меня пить, я пил и не чувствовал, как засыпал. Славно спалось; в это время я ничего не чувствовал, даже во сне ничего не видел, только утром болела голова, но я не мог пить водку утром. Зато вечером я выпивал по осьмушке, чтобы уснуть скорее: иначе я вплоть до шестого часу не мог уснуть от блох и клопов, на которых не действовали никакие персидские порошки и ромашки.

Меня очень полюбил один сапожник - похожий на немца, Филат Никитич. Приходит он ко мне утром и говорит:

- Извините, милостивый государь, что я побеспокоил вас.

- Мне очень приятно, - отвечал я.

- Хорошо ли почивали? - Хорошо. Вчера чуть блохи не съели.

На это он замечал всяко; раз заметил: "Ну, этого не бывает. Только ведь римского царя какого-то вши съели... Одолжите папироску... Я вас не беспокою? Приходите к нам покалякать. Не принести ли вам самоварчик?"

Он всегда, ради папироски, ради рюмки водки, навязывался на какое-нибудь дело: то сапоги вычистить, то в лавочку сходить и т. п. Но я все это делал сам.

А к половине месяца денег у меня не стало ни копейки. Как быть? Есть хочется, денег нет, а одним чаем сыт не будешь. Хорошо еще, мне верила торговка Акулина, которая жила у хозяина: она мне давала булки, черный хлеб, огурцы и яйца в долг.

Прислуги у хозяина для жильцов не было, а Акулина, уж неизвестно почему, часто приносила в мою комнату самовар. Эта женщина играла у хозяина роль, а именно - торговала в кабаке булками, черным хлебом, огурцами, яйцами и проч. Она хозяину ничего не платила за квартиру, и все-таки хозяину выгодно было держать ее. Дозволяя ей торговать в лавочке бесплатно, хозяин имел больше посетителей, которые, закусывая, больше пили водки; значит, хозяин посредством торговки имел больше барыша, чем торговцы других кабаков, не

имеющие права отпускать посетителям ничего из съестного, кроме сухарей. Хозяин в этом случае умел ладить с городовым, который аккуратно приходил к нему за выпивкой утром и вечером и потому не обращал внимания на торговку, которая налицо имела только булки и огурцы, а в кухне держала папиросы из миллеровского табаку, которые она продавала по одной копейке за штуку. Для мелочной торговли на улице ей нужно было взять билет из думы в полтора рубля за год. Кроме этого, она была у хозяина что-то вроде слуги: мыла и мела полы, шила белье, помогала стряпать хозяйке, и за это ее кормили, поили чаем, и она так привыкла к хозяевам, что ни за что не хотела отойти от них.

В первые дни на этой квартире меня заинтересовало, кто живет в соседней со мной комнате. Хозяин говорил, что там живет какой-то бедный приезжий отставной чиновник. Этого чиновника я не видал, а только слышал, что за стеной кто-то играет на гитаре "Во саду ли, в огороде девица гуляла"... Раз я был в кухне и толковал о чем-то с сапожниками. Вдруг из соседней со мной комнаты послышалась игра на гитаре.

- Черт ее подери, эту жизнь поганую! непременно куплю себе гитару, - сказал хромой сапожник Семен Васильич.

- Ну, брат, тебе гитары не купить, потому что ты пьяница, что называется, первый сорт. Есть деньги - в кабаке, нет денег - ходишь с пустым животом и жалуешься: ой, в животе ветры ходят!.. Туда же, безмозглая голова, гитару захотел!

- Не я один пьяница на белом свете: пью на свои деньги. Да ты скажи, кто ныне не пьет-то?

- Все-таки гитару, ты пропьешь в первый же вечер.

- А хоть бы и так... Вот теперь этот чиновник! Вчера я весь день просидел дома нарочно, все хотел выждать: пойдет чиновник со двора или нет; думаю: голод не тетка, побежит в лавочку за чем-нибудь... Ну, что ж бы ты думал?.. Все сидел дома да тренькал на гитаре. Так и прошло до вечера. Смотрю, огонь у него в комнате; ну, я и пошел к нему из любопытства, и предлог нашел: свечку взял с собой засветить, знаешь... Вхожу, а он пишет. "Здравствуйте, говорю, милостивый государь, извините, что побеспокоил!" - "Ничего, говорит, покорнейше прошу садиться; папиросочки не желаете ли?" - "Нет, говорю, не нужно". Я засветил свечку и говорю: все-то вы, милостивый государь, дома сидите, хоть бы проветрились. "Некогда, говорит, все пишу". - "А позвольте полюбопытствовать, говорю, что вы пишете?" - "Сочиняю", - говорит. Ну, не понимаю, что он там сочиняет; только говорю: вы, поди, еще сегодня не кушали? - "Вчерашний, говорит, хлеб доел. Сыт". Только спрашиваю: на что же вы это пишете? ведь вы не служите? - "А для того, говорит, чтобы в книгах печатали; за это, говорит, деньги платят". Ну уж, это он прихвастывает. Потому, как бы деньги были, не жил бы так.

- Ну, а сегодня уходил?

- Уходил. Часа три или четыре не было дома. Приходит, я спрашиваю: погулять изволили? - "Сочинение, говорит, снес, да хозяина не застал дома... Мошенники, говорит, этот народ, не принимают меня, потому что я бедный, провинциал". Злой такой. Вином пахло... Все спал после этого.

Я рассказал сапожникам процесс сочинения и какая бывает от этого, польза сочинителям; сапожники плохо верили и отозвались так: конечно, человек умный все может написать; а вон наш брат и письмо начнет писать, так неделю собирает да две пишет. Ну, да мы не обучены. Только как же это: сидит он дома; ну, пишет, положим, ну, ему за это деньги платят?.. Вот если бы он сапоги шил али бы платье, то видно бы было, что он работает, а то пишет - и что он пишет? По крайней мере, мы не знаем, какая кому польза от его писания.

В это время вышел из комнаты молодой человек, в сером пальто, развязный. Видно было, что он недавно встал.

- А, мое почтение, милостивый государь, - сказал Филат Никитич и протянул ему руку. Чиновник кивнул нам головой; мне он руки не протянул.

- Все шьете? - спросил любезно чиновник Семена Васильича.

- Нельзя, милостивый государь, - помаленьку ковыряем, гроши собираем, авось детишкам на молочишко вышьем, - сказал Филат Никитич.

- Вы, я слышал, не здешние? - спросил меня чиновник.

- Я из Ореха.

- Очень приятно. Мы чуть-чуть с вами не земляки: я из Толокнинской губернии, - и он протянул мне свою руку. - Вы на службе?

- Да, просвещаться приехал.

- Вот это умно вы сказали, - отнесся ко мне Филат Никитич. - Здесь вы такое себе просвещение дадите, что мое почтение! Народу здесь гибель; всякий народец живет с подхватцом, черт бы его задрал! Я вот прибыл сюда, милостивый государь, на барке из Финляндии мальчуганом, там у хозяина служил, да не понравился ему, он и послал меня к тестю. А я по-русски ни аза не знал. Приехал, глаза выпучил от прекрасных здешних мест. Стал работать, нашпиговался: научился сапоги шить, ботинки, на двух языках болтаю, а по-русски всякие закорючки знаю...

- Врешь ты, собачья морда! ты из Ямбурга: сам читал на твоём билете.

Чиновник пригласил меня к себе.

- Как вы находите этот народ? - спросил он меня, когда мы вошли в его комнату.

- Народ хороший.

- Ну, нет: это избалованный народ. У них нет любви к человечеству, уважения к женщине, к личности и тому подобное.

- Я не могу заключать, что этот народ избалован, потому только, что он живет в таком виде. Худого же он никому не сделает. Разве он, то есть, собственно, один который-нибудь сапожник из двух, обидит вас чем-нибудь?

- А вы давно здесь?

- Третью неделю живу.

- Поэтому вы и не можете заключить так о здешнем народе. - Мы оба замолчали. Я стал вглядываться в его комнату: железная кровать, два стула, стол небольшой, на столе лежат тетрадки и книги, фотографическая карточка самого чиновника; на стене повешены - на одном гвозде гитара, на другом сюртук, пальто и фуражка.

- Садитесь, пожалуйста, потолкуемте. Я теперь ужасно занимаюсь: пишу комедию. Вы часто бываете в театре?

- Еще не был; денег нет.

- Существенного нет ничего... Я вот пишу существенное. Был в одной редакции, не приняли. Я спросил, почему, - они только сказали: теперь комедии и драмы никем не читаются. Отчего же они дрянные комедии печатают? Это как?

Я тоже в некотором роде был драматический писатель, и мне слова его были не по нутру, но я о своем таланте умолчал и сказал: ну, вы повесть начните!

- Ни за что! В повестях нет интереса для простого народа. Я хочу, чтобы мои произведения на театре показывались.

- Это, пожалуй, трудненько, особенно здесь: говорят, протекция нужна.

- То-то и есть. В своей губернии я давал содержателю театра одну комедию, да он хотел поставить ее с переделками, я и не согласился.

- Ну, а раньше вы печатали где-нибудь?

- В губернских ведомостях печатал, да не стоило, потому что их почти никто не читает; а если кто и смотрит их, так смотрит распоряжения начальства и разные происшествия.

- Как же вы думаете теперь жить?

- Да вот теперь переделываю комедию. Я ее в другую редакцию снесу.

Пошли мы с ним в кабак выпить водки. За водкой он рассказал мне, что приехал сюда именно для того, чтобы помещать свои сочинения и быть постоянным сотрудником журнала; для этой цели он вышел в отставку. Когда же он накопит больше денег, то поступит опять на службу, и ему дадут хорошую должность, потому-де, что он будет образованный человек. После этого знакомства он каждый день стал навещать меня; но он стал надоедать мне своим хвастовством о превосходстве его над другими сочинителями и рассказами о плутнях разных чиновников, а главное, тем, что мы пили с ним много водки: он продал свои золотые часы, заведенные им еще в провинции.

В департаменте я не отличался от других красивым почерком и писал вообще очень невзрачно. Начальник отделения ничего не давал мне переписывать, да мне и лучше казалось не переписывать на него, потому что он требовал каллиграфию, распекал за знаки препинания и т. п. Помощник же объяснял мне, что он потому не дает мне переписывать, что ему почерк не нравится и он привык к одному почерку. Столоначальник не обращал на меня никакого внимания и даже не знал моей фамилии, он только знал, что у него в столе три писца. Вообще на меня смотрели как на пустого человека, которого можно повернуть как угодно; но когда мне предложили взять работу на дом, я храбро сказал: у меня дома свеч нет...

- Как так нет? - запищал столоначальник.

- Очень просто: денег нет.

- Куда же вы их дели? вы писец, должны жить экономнее... пьянствуете, верно?

- Я еще не получал жалованья из департамента.

- А зачем вы сюда приехали?

Все-таки мне на дом работы не дали. Чтобы приобрести больше денег, я стал наниматься дежурить в департаменте за пятьдесят копеек в сутки, но меня немногие нанимали, во-первых, потому, что еще не знали, что я за тварь такая, и во-вторых, я был не штатный писец. Однако я уже пять раз дежурил. Дежурных в департаменте полагалось четыре; старший дежурный только расписывался в книге, а в дежурную не ходил и не знал, кто еще дежурный, потому что он расписывался за неделю раньше. Поэтому один, постарше

остальных двоих, дежурил с девяти часов утра до трех часов, другой - с трех до утра; ночью велено было спать двоим, но спал всегда третий (по книге четвертый).. Дежурство мое только в том и заключалось, что я принимал пакеты, депеши, то есть расписывался в приеме их; дежурному подавался сальный огарок, который постоянно догорал в восемь часов вечера, и с этого времени я должен был спать.

Через две недели я уже ходил в публичную библиотеку и читал там книги даром. Между тем я успел переписать один рассказ из провинциальной жизни. Он мне так нравился, что я думал, что его во всяком журнале напечатают, и, по привычке ходить по кухням, пошел разыскивать редакторскую кухню.

Меня там осмеяла редакторская прислуга и послала в редакцию. С замиранием сердца я отдал пакет лакею и ушел. Через неделю пришел в приемный день. Какой-то свирепый на вид господин сказал мне, что статья еще не прочитана, и велел прийти еще через неделю. Через неделю этот же свирепый господин сказал мне важно: неудобна к печатанию.

- Почему? - я спросил.

- Да... одним словом, неудобна.

- Какие же причины?

- Извините, мне некогда. - И он отошел. Обругал я в душе этого человека, ушел домой и долго думал, куда бы отдать статью. Перебрал я все газеты, ничего в них нет хорошего, и надумал отдать в "Насекомую", - наудалую, на том основании, что из газеты мне легче будет попасть в журнал, несмотря на то, что эта газета никаких тенденций не имела и помещала черт знает что, почему журналы уже и не говорили о ней.

В этот же день я отдал свой рассказ в контору газеты "Насекомой" при письме, в котором я просил редактора напечатать статью и принять меня своим сотрудником. Отдав статью, я думал, что я так просто побаловался и статью не напечатают, потому что мой сосед, Соколов, не одну уже редакцию обегал, нигде не принимают; но я все-таки хотел потом переделать ее и отдать в другую редакцию. Целые пять дней я был в тревожном состоянии: днем только и думал о статье, думал, как я буду торжествовать, когда ее напечатают в столичной газете и ее будут читать ореховцы и департаментские чиновники. Между тем я все-таки сочинял другую статью. Каждый день я с трепетом заглядывал во вчерашние номера газеты, нет ли моей статьи. Газету очень любил экзекутор, и потому она к нам в отделение попадала на другой день после выхода. В шестой день я увидел в этой газете фельетон и заглавие моего творения. Я ошалел: в глазах зарябило, кровь ударила в голову, меня затрясло, сердце билось сильнее. Стал я читать, - мои слова, моя мысль... Мне засмеяться хотелось от радости, перевернул я лист - моя фамилия. Но и тут мне не дали вволю порадоваться: помощник, видя, что я читаю газету, приказал мне: "Перепишите это поскорее да почище". Я стал переписывать, но только думал о своей статье. Помощник заметил мне, что я больно рассеян; а мне хотелось поделиться своей радостью с кем-нибудь. Подсел ко мне Соловьев и спросил: как вы поживаете?

- Вы читали газету "Насекомая"? - спросил я его дрожащим голосом, как будто меня сейчас сечь публично поведут.

- Пересматривал, да все ерунда, - сказал он важно. Мне это обидно показалось.

- Тут... там моя статья, - сказал я тихо, язык точно не поворачивался у меня.

- Ваша?! Неужели! Где? - спросил он с важным изумлением.

Я показал. Соловьев взял "Насекомую", посмотрел - подпись моя, и стал читать, но читал



немного.

- Так это точно ваша? Поздравляю! - И, подошедши к Петру Васильичу Клюквину, сказал:

- У вас в столе литератор есть!

- Кто это такой?

- А вот! - и указал на меня.

- О чем? - спросил меня Клюквин.

- Это простой рассказ. - Клюквин также удостоверился, что есть моя фамилия, и, сказав: надо прочесть,- доложил об этом столоничальнику, ткнув в мою фамилию, напечатанную под статьей, как он тычет на статьи закона, показывая их Черемухину. Столоничальник только промычал; а!! - и отбросил газету в сторону. Он не любил "Насекомую".

Мне показалось обидным, что чиновники пренебрегают моим сочинением. Когда я ходил курить, то мне казалось, что все на меня глядели и думали: вот сочинитель! Теперь чиновники нашего отделения заговорили со мной вежливо, спрашивали, не печатал ли я еще где-нибудь статей, а Соловьев и Клюквин напрашивались на поздравку.

Когда Черемухин стал собираться домой, Клюквин доложил ему:

- Ваше превосходительство, у нас литератор есть в отделении.

- Кто такой? - спросил он как будто с испугом и с удивлением.

- Господин Кузьмин. Он в "Насекомой" вот эту статью напечатал, - и он показал ему газету.

- Подпись есть?

- Точно так-с, ваше превосходительство, - и он ткнул пальцем на подпись.

- Скажите ему, что я читаю.

В этот день я блаженствовал. Купил я номер газеты за десять копеек, прочитал и нашел в ней много своих ошибок: мне казалось, что я бы теперь лучше сочинил; много было типографских опечаток, и хорошие места не были напечатаны. Хозяин тоже поздравил меня и попросил вежливо остальные деньги за квартиру, а у меня, несмотря на то, что я питался черным хлебом и чаем, теперь денег было только двадцать одна копейка с грошем. Соколову очень не понравилось, что напечатана моя статья, и он со мной был неразговорчив, а выпив на мой счет косушку вишневки, которая, впрочем, отзывала клопами, он сказал мне, что и он понесет туда свою статью, лучше моей, но какую - этого он не объяснил. На другой день чиновники со мной здоровались, кроме столоничальников; особенно увивались около меня Клюквин, Пьюжкин, Соловьев и Алексеев, - и даже подсмеивались над моим костюмом. Соловьев говорил мне, что он часто бывает у П. и даже переписывал ему одно сочинение; что он друг брата П., который служит в таком-то департаменте, и что у меня нет настоящего литературного слога. "Но,- говорил он мне, - вы выработаетесь; я вам помогу; мы вместе будем читать". Я думал, что меня не заставят переписывать, но заставляли, а начальник отделения своими руками отдал мне черновую бумагу и велел переписать и прочитать с ним. Клюквин объяснил мне: это означает то, что начальник отделения расположен к вам... Случилось так, что я переписал не стараясь, некрасиво. Чиновники постарше подшучивали надо мной и говорили, что Черемухину не понравится моя переписка. Оно так и вышло: когда я подал ее Черемухину, он сказал, как всегда говорил чиновникам: положите, я вас призову, - и немного погодя сказал Клюквину: "Скажите господину Кузьмину, что так не годится переписывать: ведь ее будет господин директор читать". Я переписал снова, старательно.

Черемухин попросил меня сесть, я сел и чувствовал неловкость. Черемухин сказал:

- Смотрите в мою черновую, - и стал читать громко. Я думал, что мне смотреть на его черновую незачем, потому что он сам знает, что им сочинено, и стал глядеть на его портфель.

- Что же вы в мою черновую не смотрите? смотрите, пожалуйста!

Он продолжал читать еще громче и медленнее, останавливаясь на каждом слове.

- Вот у вас тут тире не поставлено... это нехорошо,- сказал он обидным голосом. Я покраснел, чиновники глядели на меня и Черемухина.

- Вы, верно, без транспаранта пишете?

- Я и так умею.

- А вот эта строчка косо. Нельзя: ведь господин директор будет читать, - сказал он наставительно.

- Тут вот опять тире. Как же вы, сочиняете еще, а этого не знаете... - И он подписал свою фамилию, важно расчеркнувшись.

Я умильно глядел на его росчерк.

- Вы можете идти на свое место.

Я вздрогнул, покраснел и ушел. Чиновники меня ошкаркали:

- Что, какво? Вот те и сочинитель!

В этот день был у меня Соловьев, и мы долго толковали с ним о литературе. Он оказался неглупым человеком, но говорил, что знает литературу вдоль и поперек, только не хочет сам сочинять: лень. Он мне поправил другую статью и взял один очерк для прочтения.

На другой день я отдал другую статью в ту же контору "Насекомой", в которую подал и первую.

Итак, я торжествовал. Послал я Лене письмо, в котором подробно описывал свою радость и надежды выйти в люди своими сочинениями. Письмо вышло дельное, и в нем я уже называл Лену милою моею будущею подругою. В этот день чиновники получили жалованье. Половина чиновников получили не все жалованье, потому что на них были долги. В приемной толпились разные кредиторы, и особенно нахальничал чиновник департамента, который подписывается на газеты и журналы и у которого чиновники подписываются на эти умопросвещающие и умоотупляющие вещи. Так как он обыкновенно затрачивает много своего капитала, а чиновники пользуются этими вещами в долг, то он и теребит с них деньги при получении жалованья.

- Деньги пожалуйста!

- Теперь не могу отдать, подождите до следующего.

- Да что же мне все ждать! Отдайте, ради бога. Чиновник-газетчик похож был теперь на жида, просящего свой долг, а чиновники-подписчики на бессовестных должников, старающихся во что бы то ни стало отсрочить уплату платежа или не заплатить деньги.

Другой был пирожник, у которого чиновники брали на книжку целый месяц и даже целый год пироги.

- Ну, подожди! Теперь нет, самому мало, - говорили одни.

- Ради бога! - Он чуть не плакал.

- Ты, каналья, на меня пять пирогов лишних насчитал, - говорили другие, рассчитываясь с пирожником.

- Как это возможно? Ведь я не в первый год торгую у вас.

Были здесь портные, сапожники и другие люди, но чиновники старались как-нибудь улизнуть от них. Одна какая-то госпожа очень плакалась на одного чиновника.

- Да ведь он здесь служил!

- Да. Теперь он в отставке, уже с месяц.

- Он мне назад тому шесть месяцев вексель дал в тридцать рублей!

- А мне расписку во сто рублей. Я ему платье шил вот по ихней рекомендации, - отозвался портной, указывая на госпожу.

- Я была у него назад тому неделю; говорит: вы ничего с меня не возьмете, я, говорит, еще двадцати лет, несовершеннолетний.

- Да, он еще несовершеннолетний, - сказали чиновники.

- Ничего не получите, - сказал один молодой чиновник.

- Как же? он имеет чин, а я не могу с него, не имею права взыскивать деньги! Зачем же ему чин дали, коли он несовершеннолетний? - горячился портной.

Чиновники пожали плечами и ушли.

- Где же справедливость? - сказала госпожа и вышла с портным на площадку, а потом и из департамента.

Мне пришлось получить жалованья только пять рублей с копейками. Всего жалованья мне назначили восемь рублей, и из них около двух рублей вычли за негербовую бумагу, а один рубль в эмеритурную кассу. Об этой кассе, как я слышал от чиновников, чиновники не имели понятия, потому что им не сказали правил; поэтому многим не хотелось платить денег - из двенадцати рублей шесть процентов, но с них вычитали, говоря, что годов через десять они будут получать проценты, а через двадцать пять - пенсию. Спросил я чиновников: а могу я брать займы оттуда? - "Нет". - "А если я умру нынче или выйду в отставку через год?" - "Ничего не получите. Ждите, вот правила собираются печатать". - Я сказал экзекутору, что я не желаю платить денег, потому что мне жить не на что.

- Не ваше дело, - сказал он и говорить больше не хотел.

Шайка, состоящая из Клюквина, Пьюжкина, Соловьева и Алексеева, пригласила меня омыwać жалованье. Трактир очень приличный. В каждой комнате сидят чиновники, военные, гражданские. Мы вошли в какую-то маленькую комнату, в которой было темно. Служитель зажег газ и любезно приветствовал чиновников. Оказалось, что мои товарищи этот трактир посещают чуть ли не каждый день.

Потребовали графин водки и закуски. После выпивки, по рюмке, они стали рассуждать, чего бы им потребовать или чем пообедать. Потребовали сперва карточку и еще графин водки; перебрали на карточке все кушанья, кушанья дорогие, и потребовали каждый по своему

вкусу; я же попросил щей, и мне принесли борщ в тридцать копеек.

- Это, господа, дорого, - сказал я товарищам.

- Погоди, оботрешься. Вот как будешь получать много денег из редакции, лучше нашего заживешь. - Товарищи в компании говорили всем "ты" после стуканий рюмка об рюмку.

Выпивши по четыре рюмки водки, чиновники, и так говорливые, но чем-то измученные, теперь размахнули свою чиновничью натуру; каждый высказывался, как умел, что он решительно никого не боится; каждый высказывал, что его обижают, что он заслуживает хорошего места и много знает; потом следовали попреки друг другу.

- Ну, как тебе не стыдно подличать!

- Чем я подличаю? Ты перед Черемухиным, как лиса, увиваешься. Стыдись!

- А ты! Ты что говорил третьего дня: я, говорит, нагрублю Черемухину, - а вчера что делал? - И т. п.

Началась брань, лганье, упреки хуже прежних, дошло до семейной жизни, раскрылись все тайны чиновников. И какими они жалкими казались в это время; они походили не на чиновников, а на подмастерьев, готовых на всякие гадости; но в то же время заметно было какое-то горе, что-то тяготило их, и казалось, что в водке они находят утеху и веселие.

Несмотря на то что я заказал только щи, а мне принесли борщ, за который следовало заплатить тридцать копеек, да выпил я пять рюмок водки на двадцать пять копеек, с меня сошло семьдесят девять копеек, потому что чиновники, кушая разные кушанья, платили каждый поровну - это называлось товариществом.

Еще взяли графин водки, но я уже не пил. Алексеев, журналист, был уже пьян и ничего не мог выговорить, потому что он заикался. Прочие были еще не пьяны и постоянно просили у Алексеева денег; он давал, а они хохотали. Этот Алексеев был человек простой, но глуп; говорят, что он, управляя домом, наживал деньги и давал их в долг чиновникам, которые, впрочем, ему редко отдавали.

- Поехали в гостиницу Шухардина, но там так много грязи было вечером, особенно в саду, что я скоро ушел домой с Соловьевым.

Напечатали и вторую статью в "Насекомой". Похвалили меня чиновники, провозгласили по департаменту, что в таком-то отделении литератор есть, стали меня окружать чиновники и расспрашивать, не писал ли я прежде, что я пишу теперь и сколько получаю денег. Чиновники же нашего отделения напрашивались на водку, а Черемухин все более и более давал мне работы и требовал, чтобы я переписывал чисто. Служба начала противеть. Пошел я к редактору "Насекомой", Кускову. Это был тучный, здоровый, высокий человек. Он принял меня любезно, расхвалил, просил приносить статьи и сказал, что он будет рассчитывать меня по три копейки за строчку. Я попросил денег и отдал ему большую статью на пять номеров.

- Пожалуйста, придите через неделю. Я велю сосчитать, сколько вам придется получить, и выдам деньги.

В ожидании будущих благ, я перешел из маленькой комнаты вниз, в комнату возле хозяйской комнатки и рядом с кабаком. Комната эта была совсем отдельная и нравилась мне потому, что она была внизу и в ней топили печку, а в прежней, по отсутствию печи, был страшный холод. Я стал обедать у хозяина за семь рублей. Одно только было неудобство, что я все слышал, что происходило в кабаке.

Не через неделю, а через две недели я получил кое-как шесть рублей, а следовало получить

тридцать пять рублей; зато я за деньгами ходил целую неделю из департамента в редакцию, и даже раз получил выговор от Черемухина, что я куда-то шляюсь не вовремя.

Большую статью мою на пять номеров Кусков возвратил мне потому-де, что ее нужно переделать и она несогласна с правилами газеты. Это меня взбесило, но я отдал ему другую статью, и эту статью он возвратил мне.

Соколов между тем съехал, и я его не видал.

Прошло месяца три, и я от Кускова не получил и копейки. Сначала он велел приходить мне через неделю, потом через день, а потом уже лакей и пускать меня не стал к нему. А в департаменте говорили, что я ленюсь заниматься. Раз я ходил долго, то есть сидел в конторе часа три и редактора не дождался. Прихожу в отделение часу в пятом.

- Где это вы шляетесь? как я пришел, вы и ушли! - закричал на меня столоначальник.

Я промолчал, потому что находил, что я действительно часто ухожу из департамента. Подошел ко мне Черемухин. Я сижу.

- На вас, господин Кузьмин, столоначальник жалуется.

Я молчу.

- Вам говорят!

Я встал и покраснел.

- Куда вы ходили?

- За деньгами в редакцию.

- Можете в другое время ходить.

- Да он в час принимает.

- Если вы еще будете уходить, то выходите в отставку.

Меня взбесило это, но я промолчал. Будь только у меня в кармане сто рублей - ей-богу, выйду в отставку, Думал я, а утром опять смирился.

На другой день после этого я получил письмо из Ореха от Лены. Она писала, что едет на Кавказ к брату, который ей на поездку выслал сто рублей. Грустно мне сделалось после прочтения письма, но я скоро успокоился: письмо Лены развязало меня с ней. На ее письмо я не стал отвечать и с тех пор не получал об ней уж больше известия.

Жить в новой комнате было и весело, и неловко. В мое окно постоянно заглядывали шедшие и вставляли свои рожи разные люди обоих полов, неизвестно для чего. В лавочке с утра до вечера хлопали двери. С утра - с восьми часов - до ночи шел там разгул: крик, песни, пляска, а иногда и драки. Раздирало слух, дрожал дом, звенели стаканы, трещали стулья... Но мне, с помощью водки, не было дела до кабака; хозяин был человек ласковый, кормили меня хорошо, деньги не просили вперед, долги ждали. А где я найду такого хозяина!

Долго я вслушивался в разговоры, вглядывался в посетителей кабака и пришел к тому мнению, что русский кабак для простого человека - клуб.

Есть люди, которые чувствуют отвращение к кабаку, говоря, что там грязно и народ там сильно пьянствует. Есть даже брошюрка под названием "Беги от кабака"... Теперь говорят, что много мрет народу от водки. Может быть, последнее и правда, потому что хорошей водки

бедному человеку взять неоткуда в столице. Мой хозяин обыкновенно покупал водку из одного большого завода, бочонками и по мелочам, потом водку из бочонков переливал в свою посуду, разбавляя ее водой. Водку он приготавливал разных сортов: очищенную, крымскую и малороссийскую; одна ничем не пахла, другая так пахла - с понюшки тошнило. Поэтому и цена ей была разная. Перцовки и наливки настоящих у него не было, а все он приготавливал сам, настаивая на кореньях, на шафране и на масле - что я видел сам своими глазами, потому что он настойки ставил за теплую печь или в печь, устроенную в моей комнате. На окне в кабаке, на полочках у него стояли образцы водок, и эти-то образцы свидетельствовал акцизный чиновник...

Простой, рабочий народ не знает, какой яд заключается в водке, и пьет ее по разным причинам. Питухи бывают двух родов: пьяницы, ничего не делающие, и выпивающие ради чего-нибудь. Отправляется человек на работу и заходит в кабачок выпить осьмуху ради освежения - разбить кровь. На работе он измучится, устанет - и опять заходит в кабак, выпить перед сном грядущим. Без водки он делается скучным, а выпив стакан, он делается бодрее, у него развязывается язык. Если у него есть деньги и завтра ему хочется погулять, то он начнет разговаривать или с хозяином кабака, или с человеком одного с ним сорта, или пристаёт к компании рабочих. Если он пришел с товарищами, которые угощаются, или одним, или сообща, то, выпивши стакана два, он располагается как дома: говорит громко, высказывает свои мысли о ком или о чем-нибудь, спорит и, если есть у него расположение, начинает петь песни или пристаёт к поющей компании. Если товарищи о чем-нибудь толкуют, то и он высказывает свое мнение, добытое практикой или слухами от хороших людей; если его обидели, он высказывает это товарищам, которые, сочувствуя ему, дают ему свой совет; если его теперь обижают или навязывают ему неподходящие мнения, он ругается и готов бог знает что сделать с обидчиком. В этом рабочем вы не узнаете обыкновенного деревенского крестьянина, живущего в кругу однодеревенцев и пьющего водку в праздники.

Но отчего рабочие собираются непременно в кабаки и трактиры? ведь у них есть свои квартиры? - спросит читатель. На это я скажу, что крестьянину очень скучно, душно и тяжело в столице, где он живет заработками. Люди, хоть несколько достаточные, даже не особенно зажиточные, имеют возможность справлять свои праздники в своих семействах или вообще дома, в более или менее удобной комнате; большая же часть крестьян живет в Петербурге без жен, и вообще без женщин, с товарищами, не по одному, а по пяти, десяти и более человек. В деревнях они праздники справляли в семействах, и здесь они знают пасху, рождество, масленицу и воскресные дни. В артелях их кормят обыкновенно худо; такие, которые не имеют матки или живут на своих харчах, тоже питаются дрянною пищею. В комнате сыро, душно, с товарищами все переговорено, тянет на улицу, хочется повеселиться... Куда идти? Баб нет, девок своих нет, орать песни неловко, шататься по городу надоело, собраний таких нет, где бы рабочий чем-нибудь занялся, - ну, и идет человек в кабак. Там он, выпивши водки, повеселеет, покалякает с кем-нибудь, песни попоет, попляшет, - и никто там ему не препятствует. А разве в комнате, на квартире, ему дозволено плясать? Отчего же ему не петь и не плясать в кабаках, когда он вырос в деревне на хорошем воздухе и укрепил свои силы в деревне? Мне часто случалось видеть на улицах лежащих мужиков с разбитыми членами, но и это происходит оттого, что зашел человек в праздник в кабак, выпил изрядно, выпался, опять зашел опохмелиться, да попались товарищи, угостили, сам угостил их, а потом и не чувствует, что делается с ним, а пробуждается уже дома, на квартире. Так он мало-помалу и втягивается в водку, пропивая деньги, скоро хмелеет и доходит до того, что, идя один, падает на панель и уже не может встать и, ничего не чувствуя, скоро засыпает. Мне часто случалось видеть и не одних крестьян, а и чиновников пьяными, но зато те пьют дорогие вина, или дома, или из гостей едут в каретах, а потом ложатся спать на пуховики... Зачем же крестьян-то обвинять в пьянстве?..

В кабаке часто крестьяне толковали о разных предметах. А что для них полезно было бы устроить собрания, это видно из того, что хозяин, читавший "Сын отечества", говорил им о

политике и разрешал вопросы по-своему.

- Толкуют, набор будет?

- Хозяина надо спросить. Андрей Петрович, будет набор?

- По газетам не слышно, - отвечает хозяин.

- И войны нет?

- Нет.

- Я слышал, Америка што-то замышляет.

- Америка промеж собой воюет, - сказал хозяин.

- Как так?

- Так, два народа: белый и черный. Белый - англичане и немцы, а черный - арапы и негры. Вот немцы да англичане и покорили арапов и стали их продавать. Хуже, чем у нас крепостные были.

- Што же царь-то ихной смотрит? Сказал бы: воля, братцы, вам, арапы, и конец!

- Да то, што у них самосудство, все обществом...

- Што же общество смотрит? Нешто нет старост-то?

- Есть, да и они в свою сторону воротят. Вот теперича одни говорят, не надо рабства, а другие - надо, и пошла война.

- Чья же взяла?

- Да ничья. А американцы лучше, говорят, всех. Пошли толковать об войнах и свернули на помещиков, а потом на надел земли.

- Вот теперь комета! как покажется, будет война.

- Это так!

- Што же это за штука? Надо хозяина спросить... Эй! скажи-ка, што такое комета?

- Это звезда настоящая, только с хвостом, - говорил хозяин.

- Ой ли?

- Она горит,- уверял хозяин.

- Ври!

Пришли покупатели, и хозяин, сам не знавший, что такое комета, рад был, что избавился от расспросов. А рабочие долго еще толковали о комете, - и свели разговор на урожай и неурожай и на пожары.

За одним столом сидели подмастерья, портные с маляром, за другим четверо рабочих.

- А вот римский папа штука! - сказал один подмастерье.

- Што? - спрашивал маляр.

- Он какие штуки выделяет: коли тебе нужно грешить, возьми из ихной церкви записку али бумажку, и грехи долой; цена всякая: и рубль, и сто рублей, и тысяча. Заплатил сто рублей - на сто лет грехи долой, а то грехи на тысячу...

- Врешь?

Рабочие замолчали. Они слушали подмастерья. Подмастерье божился, крестился, что он не врет.

- Он самый набольший у католиков, выше королей.

- Чево ты врешь! - сказал маляр. - Кабы он был живой, отменил бы эти бумажки, потому ведь тут обман. Ведь он моща! ей-богу, моща...

Все посмотрели на него в недоумении.

- Ну, вот, ты и сам не знаешь што мелешь. Дружный хохот заглушил оправдания маляра. От индальгенций перешли к тому, что светский суд строже духовного.

Часто приходили в лавочку шарманщики, но хозяин гнал их прочь, когда не было народа; при народе он старался продержат их дольше. Часто здесь бывали драки, которые разбирали городовые. В праздники, далеко за полночь, веселился и бушевал народ с приходящими для куска хлеба, стакана водки или пива женщинами; тут были и честные трудящиеся люди, подозрительные люди, живущие нечестно, бедняки, выпрашивающие себе рюмку водки для залития горя и освежения горла, - и все это кричало, пело, плясало и вело себя так бешено в общей массе, что страшно казалось за человека, который как будто кричал: не подходи! никому не спущу...

К декабрю месяцу служба страшно опротивела: в штат не зачисляли, жалованья давали по восемь, по десять рублей. Кусков денег не платил. Он говорил, что у него нет денег. Почти четыре раза я ходил к нему на неделе за деньгами - и все напрасно: да и не я один ходил к нему... Статей моих он не печатал.

Не забыть мне достопамятное 18 декабря. Я его беру прямо из моего дневника.

"Отпросился я сегодня у столоначальника в редакцию. Велел приходить скорее. К редактору, думаю, идти не стоит - не пустит лакей. Иду и думаю: господи! сколько раз я хожу по этой дороге с надеждой: вот получу деньги и расплачусь с Андреем Петровичем и другими; не будет мне совестно людей! И сколько раз возвращался я этой дорогой назад обиженный, оплеванный лакеем и конторщиком... Слезы шли из глаз, в глазах делалось мутно. И отчего это нигде не принимают моих статей? Прихожу в контору. Конторщик поморщился и что-то шепнул, вероятно: опять! В грязной конторе, с двумя портретами двух дураков, ходил какой-то молодой человек в шинели, вероятно, тоже литератор. Он на меня не смотрел, ко мне не подходил, ни о чем не спрашивал у меня, когда я сидел на диване.

- Отчего это у вас денег нет? - спросил конторщика обиженным голосом литератор.

- Спросите Кускова, - сказал конторщик, как будто хотя сказать: "Да отвяжись ты!" Конторщик сводил какие-то счета.

Пришел дворник.

- Свеч в долг не дают. Конторщик дает денег на один фунт.

- Да для типографии этого мало.

- Мне-то что за дело! Я где возьму денег?



Приходит мальчик из типографии.

- Дайте тридцать копеек.

- Я тебе, любезный, сказал, что у меня денег нет. Проси самого Кускова.

Пришел рабочий.

- Что же деньги? - Ах, да отвяжись ты!

- Ты мне двенадцать рублей должен. Покуда я ждать-то буду!

- Пошел вон, свинья.

- Сам свинья - и с Кусковым...

Пришел лакей.

- Где дворник? - спросил он у конторщика.

- За свечами ушел. А что?

- Да какой-то подлец ворвался в залу. Я его гоню, а он сел на диван. Я, говорит, не выйду до тех пор, пока не получу денег... Это просто беда. В прошлый раз какой-то мазурик две книги хорошие украл.

Часа через два пришел в контору Кусков. Поздоровался с литератором.

- Извините, ради-бога, ей-богу, денег нет. Через неделю придите.

- Да я уж сколько хожу!

Кусков пожал плечами и ушел, не поговоривши со мной.

Обидно мне сделалось. Заплакал я за воротами, - и пошел; хорошо, что люди не заметили моих слез: снег шел.

Пришел я в отделение и сел на свое место,

Помощник и говорит мне:

- Ну, Кузьмин, Черемухин задаст тебе баню. Он тебя два раза спрашивал.

Через полчаса подходит ко мне Черемухин.

- Вам уж я говорил не в первый раз, чтобы не отлучались...

- Я за деньгами ходил... меня столоначальник отпустил.

- Извольте выходить в отставку.

В глазах у меня помутилось, как будто вся кровь прихлынула в голову, но я все-таки сдержался и отмалчивался от насмешек чиновников. Часу в шестом половина служащих разошлась по домам, а я остался для того, чтобы попросить Черемухина оставить меня в департаменте. Вдруг подходит к Черемухину вице-директор с палкой, Тот самый, которого я видел в первый день моего появления в департаменте.

- Нет ли у вас писца? Вот это переписать; нужно очень скоро.

- Кого же бы? У меня все хорошие-то вышли... Господин Кузьмин, перепишите!

Я обрадовался, думая, что Черемухин меня помилует.

- Скорее же! - крикнул на меня вице-директор. Я доставал медленно веленевую бумагу, медленно перо искал, вице-директор торопил. Перо попало дрянное, так что два слова написались точно мазилкой. Увидав это, вице-директор закричал:

- Это что такое значит! А? Ах ты, господи. Перемени бумагу, скотина...

Опять он стал диктовать мне, а я писал; и он продиктовал какое-то слово, я написал, он, вместо него, продиктовал снова, - другое. Увидав, что я написал первое, он пришел в неопisanную ярость.

- Это что!!! Это что!! Господин Черемухин? кого вы мне дали? он и писать не умеет... Он нарочно...

- Он... сочинитель.

- Сочинитель! Выгнать его вон! Вон!!

И вице-директор, выхвативши бумагу, убежал из нашего отделения.

- Извольте подавать прошение в отставку, - сказал мне начальник отделения.

Не помню, как я вышел из департамента; только помню, что я шел домой, как шальной. Дома хозяин спросил меня:

- Что с вами?

- Дайте водки.

- Да за вами два с полтиной долгу; да за квартиру шесть.

- Я заплачу.

Выпивши залпом стакан перцовки, я сказал ему, что меня выгнали.

- А деньги когда вы мне отдадите? Я уж вашу комнату отдал.

- Будто?!

- Да... Вы мне оставьте залог какой-нибудь.

Я выпил еще стакан перцовки и сказал:

- Возьмите мою шинель. Она мне стоит пятнадцать рублей.

- Помилуйте, она всего-то пять рублей стоит.

Я немного поел и скоро лег, но долго не мог заснуть. Положение мое было так скверно, что я решительно ничего не мог придумать...

Утром я пошел на толкучку продавать шинель. Дали семь рублей. Намерзся я сильно в летнем пальтишке и зашел в питейный. Там я встретил Соколова; он был пьяный.

- Что с тобой, Соколов?

- Ничего, - бурлил он. - Попотчуй водочкой, ты ведь литератор!

- Меня, брат, вчера выгнали из департамента.

- Врешь!!-И он с удивлением посмотрел на меня.

Ноги озябли, сам я дрожал от холода и с горя, голова трещала, и я выпил опять стакан водки, еще выпил, закусил, а потом уже не помню, что со мной было. Пробудился от боли в ноге, как будто кто-то ступил на нее. Кое-как я открыл глаза, веки у меня словно вспухли; взглянув кругом себя, я долго не мог понять, где я нахожусь... Передо мной стояло человек десять мужчин с пьяными лицами, в ободранных одеждах, связанные бечевкой спинами друг к другу. В другой кучке стоит городской, в третьей - какая-то баба воет, и все это кричит, ругается и вырастает надо мной, как лес; движется, как в каком-нибудь омуте.

- Ну ка, ты, черт! вставай! - крикнул кто-то, и я почувствовал пинок в голову. Только теперь я очутился и понял, что я лежу на полу в съезжей. Я сел. Пальтишко мое изодрано, замарано, фуражки нет, нет бумажника, голова болит от ушиба, на лице кровь, руки в крови...

- Где я? - сказал я хриплым голосом.

- Вставай, баран! - проговорил один из связанных и толкнул меня ногой.

- Господа, как я сюда попал? - спросил я. Человек пять захохотали.

- Пьяного городской притащил; на улице, говорят, нашел.

Встал я каким-то полусумасшедшим, на всех глядел дико. А народ словно на пир сюда собрался: ни одного слова не поймешь из этой толпы.

- Мазурик!

- Сам мазурик! - только и слышится с непечатною бранью.

Благовоспитанному человеку здесь от вони и пяти минут не прожить.

Вошел помощник надзирателя.

- Смирно!

- Чево - смирно!

- Ну-ка, подойди.

- Смирно, вам говорят, - закричал надзиратель и ударил одного по лицу. Немного затихли.

- А, вам воровать, грабить! я вас! Городовой! развяжи-ка этого голубчика.

Городовой развязал одного.

- Отведи в контору.

- Мы, ваше благородие, ни в чем не виноваты... Мы...

- Молчать!

- Батюшка! я не виноват! меня самого ограбили.

- Где ты вчера был в семь часов вечера? - спросил надзиратель одного мужика, сидящего смирно в углу.

- Разве я знаю часы-те?

- Ну, вечером?

- Спал.

- Эй, ты, рыжая борода, подойди сюда! - крикнул он в дверь, в которую выглядывал мужичок низенького роста. Тот вошел.

- Знаешь его?

- Как не знать! Вместе третьего дни робили.

- Спал он вчера на квартире?

Обвиняемый хотел было говорить, но надзиратель замахнулся на него. Рыжебородый, по-видимому, не знал, что сказать.

- Ну?

- Да он вечор и не бывал, что есть, на квартире.

- Городовой, отправить его в... часть. Эй, Андреев!

Вошел опять новый городовой.

- Где ты этих молодцов словил?

- У Щукина, ваше благородие,

- Паспорта?

Паспортов ни у кого не оказалось.

- Сведи, - скомандовал надзиратель городовому. Половину увели.

- А этот? - обратился он к дежурному городовому, ткнув пальцем на меня.

- Пьяный валялся,

- У! Еще что?

- Только пьяного привели - Иванов привел, - Позвали Иванова.

- Где ты его взял?

- На Сенной, ваше благородие.

- Кто ты такой?

Я сказал.

Меня препроводили при бумаге в департамент.

Можете себе вообразить мой стыд, когда меня привел в департамент городовой и сдал дежурному. Чтобы ускользнуть скорее из департамента, я занял у одного чиновника два рубля и написал прошение, доверив его подать этому же чиновнику.

Квартирный хозяин не узнал меня. Он сказал, что в моей комнате живет уже какая-то вдова, а

мое имущество находится в кухне, где теперь никто не жил. До вечера я проболтался кое-как без водки, а вечером пришли ко мне двое чиновников департаментских и на свой счет поставили водки штоф. Все они жалели меня, старались напоить, но и обвиняли, что я не старался угождать начальнику отделения; потом стали укорять меня, что я пью водку на их счет. Это меня взбесило, и я вытолкал их вон из кухни.

Хозяин мне надоед напоминаньями о том, чтобы я очищал квартиру, и я нанял в Апраксином переулке, в подвале, выходящем во двор, угол за четвертак, а старому хозяину оставил все свои вещи. Эта комнатка имела всего одно окно, в которое проходил со двора удушливый, вонючий воздух. В переднем углу за маленьким столом помещался хозяин этой комнаты, сапожник Гаврила, направо, против него, жил какой-то шапошный мастер, Степан Иваныч. Ближе к дверям, на полу, помещалась немолодая женщина, Маланья Павловна, с тремя ребятами. Она тоже помогала шить шапошному мастеру; против нее лежала молодая женщина и охала. В комнате не было ни одной кровати, ни шкапа; на полу стояли сундучки, лежал какой-то хлам, на стенах висели худенькие одежды; было три табуретки. Я поместился в углу за Маланьей Павловной. Здесь обитала страшная бедность, грязь, вонь. Зайдя в этот чертог, можно было подумать, что тут живут люди-звери; но и здесь у каждого человека был свой характер, свое занятие, свой взгляд на вещи, и каждый ругался по-своему. Ни одного ласкового слова вы не услышите здесь; и, однако же, эти люди были добры, как я узнал с первого раза.

- Маланья Павловна, голубушка, сходи за бабкой.

- Погоди, Катерина, ишь ребенка кормлю.

- Он! - простонала Катерина.

- Гаврила! ты бы сходил...

- Есть когда мне!.. умирай!..

Однако Гаврила ушел скоро. Я подсел к Степану Иванычу. Он сказал, что шьет фуражки и шапки на Апраксин; за каждую, из готового сукна, ему платят по пятнадцати копеек. За угол они, то есть все жильцы этой комнаты, платят по полтиннику.

Через час Гаврила пришел с повивальной бабкой. Мужчин она выгнала на улицу. Мы, то есть Гаврила Матвеич, Степан Иваныч и я, ушли в один из кабаков на Апраксин переулок, устроенный в подвале. Там уже было человек двенадцать веселящихся. Половина из них о чем-то спорили; это были большею частью люди, занимающиеся портным ремеслом, худые, с бледными лицами, в ситцевых и холщовых рубахах, триковых и тиковых брюках и в халатах, - не в таких, какие продают татары, но просто тиковых или коленкоровых. В числе этих пяти человек был один мальчуган лет двенадцати, он тоже о чем-то спорил. Остальные или пели, или пили водку; большинство их состояло из сапожников, тоже с худыми и бледными немытыми лицами, грязными руками, с черными фартуками. Из них каждый рассуждал и спорил. Они уже кончили работать и посвятили окончание дня Бахусу. В кабаке пахнет прокислым, от табаку душно. Как только мы вошли в кабак, нас встретили восклицаниями.

- А! наше вам! Гаврилу Матвеичу!

- Здорово, ребята. О чем спор идет?

- Да вот Павлушка спорит, што Якова Савельева не в нынешнем году в солдаты отдали.

- Я думал, о чем-нибудь путном. Ну-ка, Тарас, про нас рыбы припас, дай-ка косуху! - обратился Степан Иваныч к хозяину кабака и мимоходом поздоровался с сидящими.

- Какой?

- Известно какой! малороссийской. Мои товарищи закурили трубки, сели к сапожникам и стали толковать; я сел около них.

- Ну, как дела, Илюха?

- Дела плохие: не вывозит.

- Плохо. А этот чей с вами?

- Этот сегодня на фатеру переехал к нам.

- Ты по какой части, по торговой?

- Нет.

- А тебя как зовут, я и забыл спросить-то? - спросил меня Степан Иваныч.

Я сказал.

- Так вот што: не будешь ли ты за меня торговлей заниматься?

- Чем?

- А это уж мое дело. Водку пьешь?

- Пью.

- Ну, пей. Да смотри, торгуй - не плутуй; с нами, брат, шутить нечего. Выпьем.

Выпили, крякнули, плюнули.

- Я, брат Степан, сегодня на Александровском славные брюки выменял. Знаешь, те, черные-то?

- Врешь?

- Ей-богу. Замазал так, что мое почтение. Они мне полтинник стоили, а я дал придачи полтинник, как есть, новые выменял: в магазине и за восемь не купишь.

- Ну, брат, дорого дал.

Говор усиливался все более и более; народ все больше пьянел и пьянел; начался крик, песни, пляски. Вон кого-то ударили, началась драка.

- Савелий! Савелий! Отстань! - кричат со всех сторон.

- Убью! - ревел кто-то.

Чувствую, что я пьян; боюсь я драк, потому могут избить и меня; гадок показался мне этот кабак, и вышел я из него шатаюсь. Сел я на крылечке у подъезда, около какой-то торговли калачами.

- Уйди, мазурик! - закричала она. Я встал в воротах и уперся в стену. Хотя и пьян я был, а чувствовал, что один я в этом городе: все мне кажется ново, и никак я не думал попасть в берлогу, где бедность, нищета и живут бог знает какие люди. Грустно мне сделалось, плакать хотелось от разгульных песен, раздающихся глухо из кабака, и от шарманки, играющей против кабака. На панели сидят рабочие, о чем-то толкуют, несмотря на холод; дворник метет

панель - и вот он согнал их; они пошли в кабак, говоря: "Скушно на фатере-то, освежимся..." Куда ни поглядишь, все бедность, даже и народ идет мимо бедный. Вон прошла какая-то женщина в шляпке, молодец, вышедший из кабака, остановил ее:

- Душенька! Пойдем.

- Уйди! - И она, рванувшись, пошла своей дорогой, а молодец пошел к воротам, пошатываясь и напевая: "Ах, скучно сердцу моему!..."

Полезли в кабак и женщины... Но бог с ними, пусть лезут, они не богаче меня.

Мои товарищи вышли из кабака пьяные, хотелось и мне еще выпить, да денег у меня не было. Поплелся и я за ними.

В нашей берлоге только тускло теплилась лампа с керосином, отчего в берлоге тяжело было дышать от керосину, который Степан Иваныч прозвал язвой.

- Катька, а Катька! Опять язву зажгла? - кричал он.

- Молчи ты, Степка, спит она, - проговорила его жена.

- Что-о!!

- Спит, тебе говорят.

- А вот! - И Степка хотел сбросить лампу, но Гаврила удержал его.

- Как те не стыдно? - В это время запищал ребенок у Катерины, и Катерина проснулась.

- Слышь, родила! - сказал Гаврила.

- А!! - И Степан повалился на пол.

- Бесстыжие твои глаза. Опять напился, - сказала Катерина больным голосом Гавриле, который стоял перед нею, подперши руки фертом и покачиваясь. Он дико глядел на жену и осклаблялся.

- Родила! - вскричал он, покачнувшись, но уперся об стену.

- Уйди, лампу прольешь.

Ребенок ревел.

Через полчаса в лачуге раздавался мужской храп на разные лады, только два ребенка, Катерины и Маланьи, ревели попеременно или вместе, и под их музыку я скоро заснул.

На другой день я проснулся тоже с криком детей. Гаврилы и Степана в лачуге не было; Маланья Павловна тоже пошла куда-то с кофейником, уложив предварительно ребенка на пол; остальные дети, мальчик лет трех и девочка пяти, играли, ползая по черно-грязному полу; Катерина полусидела и качала ребенка, который ревел. Пришли Гаврила и Степан.

- Опять налился! - сказала Катерина.

- Молчи! не твое дело!

- А где Маланья? - спросил Катерину Степан.

- За кипятком ушла на кофей.

- Я ей этот кофей вышибу. Эк, выдумала! - И он, выкурив трубку табаку, принялся шить фуражку, а Гаврила сел за сапог.

- Шустрой этот Колоколов Мишка, в одно ухо влезет, в другое вылезет.

- Ну, не такие еще штуки делают. Смотри, какие дела делал Васька Ивашов; посадили ведь, судили, а потом и выпустили.

- Людям счастье.

- А нам вдвое! - И Степан Иваныч стал насвистывать: "За рекой, под горой"...

- Гаврила, дай-ка, где-то ровно тряпичка была, - сказала ему Катерина.

- Где?

- Не знаю.

Гаврила стал искать тряпичку в узле под подушкой Катерины и, дав ей тряпичку, стал ласкать ребенка.

- Сын?

- Нет, дочь.

- Ну, в воспитательный!

- Что ты, побойся бога!

- Ну уж, нет. Кормить я тебя не стану. Эдак ты от ремесла отойдешь.

Пришла Маланья с кофейником в одной руке, в другой несла фунт черного хлеба и четверть белого.

- Для кого это ты белый-то хлеб взяла? - спросил ее муж.

- Поди-кось, ребятам-то голодом быть?

Маланья стала пить кофей; к ней присоединился и Степан с ребятами.

- Мне бы, Маланьюшка, кофейку, - проговорила Катерина.

- Нельзя, Степановна; ты вечер родила.

- Чего же я есть-то стану?

Пришла бабка, вымыла ребенка, побранила Катерину, что она не лежит.

- Не могу я лежать-то; больно.

- Потерпи как-нибудь.

- Вот кофейку бы попить...

- Ой-ой! Как можно! Свари овсянку, дешево стоит.

- Да где я ее сварю. Печка-то вон какая. - Печки в комнате не было, и комната нагревалась от соседей, у которых была печь, и от этой печи в этой комнате был только душник.



- Сколько же вам за хлопоты? - спросил бабушку Гаврилу.

- Вы не беспокоитесь, я еще буду ходить пять дней, если Катерина Степановна поправится, а не то и девять...

- Да ведь она и так здорова.

- Это уж мое дело, а не ваше. Я у вас денег не прошу; сколько дадите, столько и ладно.

- Неужели эти молодые бабки кое-что смыслят? - удивлялся Гаврилу.

Меня подозвали выпить чашку кофею. Мне совестно было объедать и опивать бедных людей, но я все-таки рад был теплomu и особенно даровому. Двое суток, кроме редьки, я ничего не едал.

Расспросили меня, кто я такой; пожалели.

- Так как же теперь думаешь? - спросил меня Гаврилу Матвеич.

- Право, не знаю. В чиновники не пойду; работать стану.

- Ну, брат, этого не скажи! Ты работать не можешь. Ну, что ты будешь делать?

- Не знаю.

- Ну, то-то. Я вижу, что дело твое бедное. А вот что, - сказал Гаврилу, - поди завтра на Семеновский плац, продай эти сапоги. Я их купил за четвертак, товару употребил на рубль, продай за пять, а не то - за три.

- Ладно.

- Умеешь торговать? Так торгуй: торгуй там, где народу больше. "Что покупать изволите? сапожки есть, пожалуйста, сапоги хорошие! Суздальские! Самые преотличные, пожалуйста!" Кричи во все горло. Мы с тебя и за квартиру не будем брать, коли будешь хорошо служить.

Я поблагодарил.

Мужчины стали работать; Маланья Павловна пришивала козырек к фуражке, сделанный из бумаги, на которую наклеено старое худое сукно, искусно зачерненное. Пошел я бродить по Щукину и изучать премудрости торговцев.

Часу в первом мужчины выпили водки и стали закусывать: капусту с салакушкой и жареную ряпушку с черным хлебом: Маланья тоже ела с ними, а Катерина пила молоко из стакана, закусывая белым хлебом.

На другой день, выпив стакан перцовки и напутствованный наставлениями Гаврилу Матвеича, я пошел торговать двумя парами сапогов на Семеновский плац. Было холодно, но, выпив стакан водки, я как-то не чувствовал холода, только пальцы ног и рук щипало. На ногах у меня были худые носки, сапоги еще того хуже. Утром народу на плацу было мало, особенно таких, как я. Хожу я по мосткам и кричу: сапогов купите! сапогов!

Ко мне подходит востроглазый человек и смотрит сапоги.

- Много ли просишь?

- За эти пять целковых, за эти четыре с полтиной.

- Што ты? Не хошь ли полтинник! Я ответил ему, показывая кукиш.

- Да ты из каких?

- Из ваших.

- А! - И он ушел.

Долго я ходил взад-вперед, крича во все горло, и смешно мне казалось кричать: мне казалось, что я в это время более похож на комедианта, чем на торговца, - но что станешь делать! К вечеру я изучил премудрости торговства и посмотрелся всякой всячины. Однако я продал одни сапоги за три рубля двадцать копеек. Зато я ничего не ел, намерзся, спать хотелось. Хозяин мой очень остался доволен и на радостях угостил меня водкой, двумя сосисками и куском ржаного хлеба.

И так я из чиновника преобразился в мелкого торговца и промаялся две недели, днем голоден, по вечерам пьян. Зато я близко узнал жизнь бедных людей в Петербурге.

Степан Иваныч принадлежал к числу таких людей, которые с детства привыкают к холоду, голоду и горю и в зрелом возрасте становятся закаленными людьми и терпеливо сносят всякие неудачи, и при всем этом живут все-таки честно. Он вырос у какого-то портного, с детства приучился пьянствовать, захотел жить самостоятельно, и теперь - есть у него деньги, он пьет, сколько хочется, ест сосиски, печенку, жена и дети сыты и одежда есть; нет денег - перебивается кое-как, работает усердно, надеясь, что он завтра деньги добудет, стоит только сходить на Щукин или на Семеновский плац. Назад тому пять лет он был хорошим портным, даже имел работников, но как-то раз его обокрали, денег не было, много было долгов за материалы, забранные из гостиного двора, его посадили в долговое отделение, где он просидел два года, и с тех пор, не желая работать на других, стал работать один. Работу себе он достает таким образом: купит на Щукином или на Семеновском плацу брюки или сертук и из обеих штук составит или брюки, или сертук, так хорошо, что покупатель хотя и подумает, что вещь сделана из старого, а купит дешевле, чем ему нужно шить самому. Таких сертуков и брюк, а равно и фуражек он переделал много из старого в новое, и таких рабочих, как я заметил, в столице очень много. Когда я еще служил в департаменте, то многие чиновники хвастались тем, что они купили дешево - тот сертук, те брюки, то пальто, которые на них, - и вещи порядочные. Как Степан Иваныч, так и Гаврила Матвеич за труд брали немного. В провинцию он ни за что не хотел ехать, потому что привык к Петербургу и товарищам.

Жена его постоянно жила с ним, и как она прежде помогала мужу, так и теперь помогает; но она живет аккуратно и от каждого рубля кладет в сундучок копеек пятнадцать, - иначе ей бы не на что было прокормить ребят, потому что она теперь, с грудным ребенком, не может заниматься торговлей.

Гаврила Матвеич немного крепче Степана Иваныча. Он хотя рос так же, как и его товарищ, и также был подмастерьем у немца, но не мог открыть сам заведения и, переставши шляться от хозяина к хозяину, сошелся с Степаном Иванычем и стал промышлять себе хлеб так же, как и он: но он был крепче Степана Иваныча тем, что любил выпить даром, даром поесть - и потом зараз угостить наповал. Жена его, гражданского брака, с ним не жила; она занималась прачешным ремеслом, приходила к нему по воскресеньям и носила ему чай, сахар, кофей, и при ее появлении в лачуге водворялся праздник: пили и ели на славу, чего не было в будни. Гаврила Матвеич часть своих денег отдает своей Кате, на которой он все еще думает когда-нибудь жениться. А так как Катерине Степановне нельзя заниматься прачешным ремеслом с грудным ребенком, то через две недели, окрестив его, отдали какой-то женщине в деревню на воспитание за три рубля в месяц, и она принялась опять за свое ремесла.

В это время я как-то раз послал Кускову письмо такого содержания: довели меня до нищеты, но я еще не нищий; честнее вас, потому что я достаю себе теплый угол и хлеб таким трудом,

над которым вы в вашей паршивой газете смеетесь. Идите на плац - и увидите вашего сотрудника с сапогами и сертуками, кричащего: сапоги хороши! сапогов купи, г. редактор! Спросите Петьку Кузьмина. Его все знают. Он, по вашей милости, пьяницей сделался.

Как-то я прочитал один номер вашей паршивой газеты, - и позвольте вас спросить: какое направление у вашей плюговой газеты, какие вы идеи проводите? В одном месте кто-то пишет, что вот это бы хорошо сделать для цивилизации нашего отечества, в другом вы отвергаете эту пользу, в третьем говорите черт знает о чем... Вы думаете, я ничего не понимаю? Это вы, цивилизация парикмахерская! Ну, чего вам нужно? Кому вы навязываете свои нелепые мыслишки, пропитанные гнилью... Вы для денег завели газету, славу себе хотите стяжать... Чем? А что говорит народ про вашу газету, - даже мы, простые бедные люди, о которых вы пишете в газете как о мошенниках и которых вы стремились искоренить, сами не зная, я где зло, откуда оно заводится.

Мне стыдно, что я писал у вас. И я даю себе честное слово, что нигде больше не буду писать. Радуйтесь: я дарю вам свои деньги - расплатитесь на них с бедными рабочими вашей типографии".

Проболтался я до февраля месяца. Кашель душит; я похудел, здоровье плохое. Кроме Гаврилы Матвеича в его благоверной, все захворали...

Затем в рукописи Кузьмина записан расход нескольких копеек; что-то написанное выдрано, а потом идет дневник:

"3 февраля. Я на другой квартире, в подвале у кузнеца... Не могу ходить...

... 23 февраля. Вчера выпустили из Обуховской больницы. С какой радостью я вышел в город на свежий, но удушливый воздух. Опять я живу с Гаврилой Матвеичем и продаю его вещи днем, по вечерам шляюсь по кабакам и смотрю народ. А для чего?... Дурак. Маланья Павловна тоже лежала в больнице, да умерла; Степан Иваныч хворает и тоже, верно, помрет, бедный. Детей Гаврила Матвеич рассовал. Живет с ним теперь маляр да еще какой-то портной. Все книги и тетрадки с чемоданом пропали, потому что Андрей Петрович уже не живет там, и я его не мог разыскать. Ну, да... Жаль только писаний... Странно, что я ныне с двух стаканов хмелею. Ах, если бы на годину уехать! А кашель душит..."

После этого что-то написано, но разобрать невозможно; видно, что Петр Иваныч писал пьяный. На другой странице написано карандашом:

"... Апрель. Опять в Обуховской больнице, в этом кладбище живых людей, вокзале, из которого прямая дорога к могиле. Славное место!.. Лежу я уже в другой палате; при мне уже четверо умерли, без стонов, без мучений: помучились вы, бедные, в жизни, нечего вам смерти страшиться. Так и я встречу смерть, может быть, сию минуту. Какая она? По медицине я вычитал, что страшилищ нет... Умирай, Кузьмин, умирай, тварь земная, ничтожное творение природы, и теперь, перед смертью, сознайся, что ты только лягушка, хотящая быть волком. Ну, к чему ты стремился? чего ты желал? чего ты достиг? Ничего, кроме того, что ты скорее умрешь. Кому ты принес пользу?..

Впрочем, к чему глупые эпитафии! Прощайте, люди: все там будем!.."

Этим заканчивается тетрадка. Ею я заканчиваю и записки канцеляриста, с тем добавлением, что издание газеты "Насекомой", по неизвестным для публики причинам, прекратилось в том же году, вскоре после смерти Кузьмина.

This file was created with BookDesigner program [bookdesigner@the-ebook.org](mailto:bookdesigner@the-ebook.org) 23.06.2008